

Наталия Слюсарева

На Киселёвке

Памяти Юры Киселёва и всей Киселёвки

Вместо предисловия

Киселёвка — выплеснутая в ладони вода жизни, прозрачная бухточка, синий лоскут счастья, бьющийся на ветру под навесом. Даритель бесценного дара — человек, чья биография, казалось, сама лоскут, обычное наполнение между датой начальной и крайней: родился, учился... Человека этого звали Киселёв Юрий Иванович, и лет жизни его, как пишут в летописях, было шестьдесят три.

Ю. И. Киселёв (26.07.1932–9.08.1995) — художник-декоратор, общественный деятель. Инвалид первой группы. Один из руководителей Инициативной группы защиты прав инвалидов.

Подвергался преследованиям: первый обыск (1979), запрет выезжать из дома в дни Олимпиады (1980), последующие обыски в Москве и Крыму, поджог и снос дома, лишение права на участок (1981), травля в печати (1986). Умер в Москве от сердечного приступа в 1995 году, похоронен на Митинском кладбище.

Дом Юрия Киселёва в Крыму, в посёлке Коктебель (Планерское), был местом отдыха интеллигенции с 1956 по 1981 год.

Пол-Ленина

Кто поёт, а кто и пляшет,

Все талантами грешат.

Вот узнают власти наши —

Инвалидности лишат.

Что за пандус! Что за прелесть!

Как со снежных гор качусь!

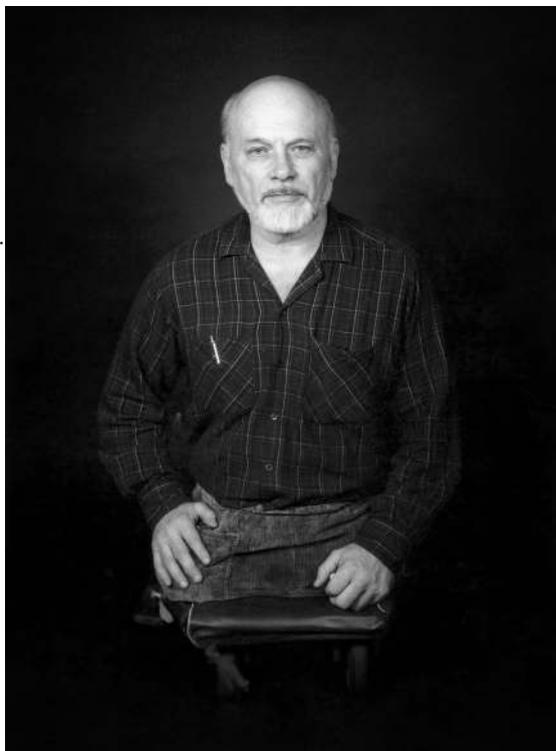
Не доеду я до цели,

Но от страха излечусь!

Частушка

У Юры Киселёва не было ног по самый корешок. Этот срез... не знаю, как он был обработан на теле — вероятно, так же грубо, как и подшит на его старых подвёрнутых штанинах, стянутых косыми нитками во все стороны. Не он ли сам (вообще-то он был мастеровой мужик) коротил себе одежду?

Взгляд, спускаясь по плечам и широкой груди не плавно, а тут же обрываясь, в один приём охватывал крепкий торс, опоясанный солдатским кожаным ремнём, после которого шло ещё на две



ладошки суровой джинсовой ткани, подобранной решительно, сразу без всяких «приспустить хоть немного под зад». Несмотря на то, что все пялились именно на это место, стоило начать с головы.

Голова у Киселёва была прекрасной лепки: обтянутый кожей вместительный череп «не влезай — убьёт!», с резкими скулами, подбородком вверх. Из такого черепа не зазорно было бы сработать заздравную чашу в пару Святославовой, убранную яхонтами и бирюзой. Не к Юриной чести молвить, не пойдя лепотой в киевского князя, он отчаянно, до жути, походил на верховного князя мирового пролетариата. Он даже умел картавить под Ленина, напялив на себя пресловутую кепку, чем неввероятно смешил окружающих, что-то вроде того: — Геволуция, о необходимости котогой мы говорили, — свегшилась!..

Своеобразие его мимики сказывалось и в том, что взгляд его порой бывал с оскалом, а улыбка — с прищуром. Ленинская тема мухой так и жужжала вокруг его башки. Кличка, сопровождавшая его по жизни, оставалась неизменной: пол-Ленина. Равно он откликался и на другое, более будничное своё прозвище — Кисель. В остальном Юрка и сам любил поржать, выпить-закусить, затянуться куревом, что под рукой, и снова ржать и балагурить. По мнению многих, это был самый весёлый человек из тех, кого они встречали по жизни.

Кстати, для тех, кто любит пялиться на инвалидов: через полчаса вашего с ним общения вы

напрочь забывали, что у него нет ног, вообще чего-то нет и что вы... Нет, это не вы над калекой колодезным журавлём, а перед вами — конь-огонь: он бьёт копытом и косит своим сощуренным, с хитринкой, глазом за лямку вашего жёлтого сарафана в мелкий цветочек. Заодно он ловок крутить козьи ножки из рассыпанного табака, хлебнуть водки из консервной банки и всё остальное прочее с тем же избытком.

Сыграть роль фатумного тесака вызвался кумачовый трамвай, вырвавшийся под короткие звоночки ранним утром из ворот трамвайного парка специально для тех, кто не прочь был «прокатитца на колбасе», то есть сцепке вагона. Шестнадцатилетний член общества трудовых резервов, возможно, староста группы, Юра Киселёв, опаздывая на занятия, в спешке оступившись, поскользнувшись, дёрнувшись, завидев милиционера, неуклюже-непоправимо выпал на прямые рельсовые пути под холодную колёсную сталь. Так вкратце была поведена мне старшими товарищами история Юриного грандиозного увечья на физическом плане.

Военные хирурги — дело происходило в 1948 году, — вдохновившись поступлением с «поля боя» редкого тела, произвели самую высокую ампутацию: в несколько приёмов отсекали от туловища ноги целиком, при том что трамвай покусился на голень на одной ноге и ступню — на другой. Таким, то есть вполне увечным, я и увидела его впервые на заслуженном торжестве — чьём-то дне рождения или праздновании Нового года. Должно быть, Киселёву в ту пору было около сорока лет.

Отметим, что трамвай, чувствуя свою вину перед комсомольцем, на будущее поделился с ним своими стальными ногами, они же — орудие преступления. Отныне и до финишной ленты, которую он пересёк в шестьдесят три года, Кисель был снабжён колёсами — от шустрых блестящих шарикоподшипников с его деревянной тележки до плотно укутанных в шубу немецких шин роскошного «Опель Монза» сочного бордового цвета. На сохранившихся чёрно-белых фото Юра, умелый механик, с инструментом в руке сосредоточенно колдует, то нависая над колесом своей инвалидки, то вровень с бампером своего старенького «Запорожца», кто-то утверждает — «Оки».

Кроме впечатляющего физического недостатка-недостатка, и так осенявшего его мощным ореолом исключительности, за спиной он имел славу лица, рагующего за права инвалидов СССР, практически безуспешно и безрезультатно, в том же СССР.

Квартира на восьмом этаже высотного сталинского дома с башней на северо-востоке столицы, в которой наша компания собралась отмечать очередное торжество, принадлежала Татьяне Сергеевне Ходорович, известной правозащитнице, с чьей дочерью Еленой я отчаянно дружила. Мы заранее



разместились за длинным столом, выделив ожидаемому гостю почётное место в торце, поближе к входу, внутренне готовясь к тому, что вот-вот прибудет столь необычный человек. До этого людей таковой ужасной нижины, обезноженных, понятно, я встречала в пригородных электричках. Обычно они катили по вагону серединной тропой на платформочках, как на дрезине по узкоколейке, предлагая ссутуленным, сложенным складным метром полаам, сонным пассажирам со скамеек свои потные кепки под медные пятаки, редко под рубль.

Сидя втеснилку на деревянной доске, проложенной между табуретками, ввиду приличного количества гостей, за вытянутым обеденным столом (заслуженно важничающим своей составной столешницей, упирающейся в подоконник), отмечая про себя элитную банку с сайрой и не раз выручавший все застолья салат из плавленого тёртого сырка «Дружба» с чесноком, я также не без определённого волнения готовилась к встрече. Я думала о том, как более естественно повести себя с Юрой Киселёвым, как удержать при ответе — вдруг он меня о чём-либо спросит? — свой взгляд на уровне его межбровья, не соскользнуть невзначай им ниже.

Трое рослых ребят, составив группу сопровождения, уже отцокали по этажам вниз к лифту, чтобы принять в свои объятия инвалида. Из колодезной глубины шахты как будто донеслось: — Подъехал, подъехал... его поднимают...

Разговор в комнате по инерции ещё продолжался, но никто никого уже не слушал. Все прислушивались — дверь на лестничную площадку была заранее приоткрыта — к тому, что происходило на лестнице и в коридоре. Вот со скрежетом двинулся в вертикаль пенал лифта, потом замер. Лёгким гулом с площадки донёсся возбуждённый пересуд, вроде того:

— Каким углом заводить, чтобы сподручнее?..

Всё это в чём-то напоминало вынос на тяжёлых дубовых носилках бледного воскового Христа в подрагивающем терновом венце на ежегодных религиозных праздниках в затерянных селениях итальянской глубинки.

Напряжение достигло высшей фазы экзальтации. Сам воздух, казалось, зазнобило, когда в ужасе, повернув головы, мы уставились взором в обморочный Аид коридора. Возможно, кто-то даже услышал бой курантов, когда в проёме показался широкоплечий, с бородкой, на протезах, гость. Он сделал к столу три-четыре шага по какой-то своей траектории и, улыбнувшись — у него получилось что-то вроде широкого оскала, — выдохнул:

— Будем отстёгиваться.

Затем тут же, при нас, освободившись от искусственных конечностей, передал их товарищам, а те, в свою очередь, определили пару облачённых в джинсы тяжёлых протезов, заканчивающихся тупыми мысами ботинок, на пустую тахту. Выходит, на нём было две пары брюк. Почему-то я долго пялилась в сторону тех ботинок. В них, огромных и чёрных, торчащих из-под серой ткани, и заключался весь ужас. При взгляде на эти тупые носы как-то сразу становилось понятно, что они не для живых ног. Поговаривали, что Киселёв мог даже танцевать на этих ногах, отплясывать, как Маресьев или другой герой Отечественной. Но не в этот раз. Вошедший гость переместился в подставленное ему кресло, попрыгал, пристраиваясь, уминаясь задом, чтобы поудобнее, на подложенные подушки. И всё. Платформа была отброшена. Бог был внесён.

Ему наливали. Он веселел. Он балагурил. Он был открыт навстречу каждому без усилий, и — о чудо! — это был единственный человек, который, имея на то все основания, не имел никаких комплексов. Казалось, он начисто игнорировал факт своего увечья. Когда Юра поворачивался к тебе, чего всегда так хотелось, создавалось впечатление, что он ждёт, что именно ты прямо сейчас сообщишь ему столь весёлое, что согорится для общего громкого смеха. Хотелось придвинуться к нему поближе, погреться, спрятаться под этим торсом, как потом прятались с подветренной стороны в складках Киловой горки от сильного ветра. Он источал чудовищное обаяние. Он производил энергию. Каждый, внутренне невольно примеряя на себя столь жестокую карму, тотчас с ужасом сбрасывал

её, как спиководшего ослепшего овода, не постигая, что подобное можно представить даже в мыслях, и, мотнув головой, доливал в стакан, чтобы ещё раз чокнуться с вождём пролетариата.

Но если бы у него только были эти икры, эти ступни, эти дроги? Как бы он их ухаживал! Он бы зарылся в искатели чего угодно: угля и нефти, руды и сланца. Он бы выдал на-гора весь уголь, пластами и кубами, только бы ему намотали клубок побольше тех непролазных дорог, в которых он бы жирно, со вкусом вяз в сапогах в распутицу и буравил голыми растрескавшимися пятками глину, клубя лёгкие фонтанчики пыли в зной. Это было так видно в самой глубине его вечно сощуренных от ржачки глаз.

Десант

Кайма кипящего прибора

Уже пристреляна давно,

И мой патрон давно в обойме,

Другого, значит, не дано.

Нептун построит нас повзводно,

Распределит: кого... куда...

Я попрошусь на флот подводный —

Топить немецкие суда.

Прости-прощай, старушка-мама!

Прости-прощай, седой отец!

Я вам кричал со дна лимана

И докричался... наконец.

Походный марш

Керченского десанта,

26 декабря 1941 года

Ощущение таврического пространства, с тополями, ветвистыми садами в безветренную лунную ночь, с чувством счастья, не без горечи, и обрывом этого счастья внезапно через набег, похищение, пленение, было подарено мне ещё в детстве через балет «Бахчисарайский фонтан». Сад, ночь, панночка, свидание. И ахово, натянутой тетивой, выпущенной стрелой из кривого татарского лука, — пробег скуластых, косматых, с нагайками, цветом в синюю глину («колени выше к локтю», как велел знаменитый хореограф). Так это и осталось в памяти — сад, обречённый на набег, волну, десант...

Кто только не хватался за таврический лоскут со стороны моря и степи. Одним из памятных, впечатанных в джанкойскую степь, остался десант генерала Слащова при Врангеле. В своё время к этому характеру замечательно прикоснулся Михаил Афанасьевич Булгаков, взяв его за образец генерала Хлудова для своей пьесы «Бег». Все десантируемые имели в голове, собственно, одно понятие, ради чего они здесь, — свободу. Свободу для себя и свободу от других.

В задачу Якова Слащова входило не допустить красных в Крым. Отражая атаки будённовской

конницы, он мотался между станцией Мелитополь и станцией Джанкой, где воздух особенно крымский, на спор занимая неприступную высоту. За успешные операции генералу к фамилии добавили приставку, так что он стал именоваться Слещов-Крымский. Ему это льстило, напоминало суворовскую славу: Рымникский. Осенью 1920 года генерал Слещов-Крымский передвигался по Крыму в основном по железной дороге, просто жил в вагоне. По ночам не спал, торчал перед картой, нюхал кокаин. На его плече сидел ворон и каркал: «Nevermore». Днём гнул ковыль по балкам. В глазах белого генерала широкой накатной волной гуляла опасная свобода, свобода отмычек.

Тут следует сделать уточнение и дописать: в его серых глазах,— потому что в противном случае его взгляд можно спутать со взглядом графа Эссекса, в чьих смоляных глазах, на дне петролеумных зрачков, лениво развальясь, почивало самое разнузданное любопытство, ожидая только повеления— пойди и сверзись, чтобы в точности исполнить приказ чёрного маршала. Такие люди оканчивают свой век на эшафоте, в более поздние века их грудь пробивают свинцовые пули. Граф Эссекс откровенно был морячком. Не «мателосом» из балета Орика в берете с пумпочкой, а тем шальным, подсмотренным когда-то Борисом Пастернаком:

Был юн матрос, а ветер—юрок:
Напал и сгрёб,
И вырвал, и задул окуроч,
И ткнул в сугроб.

Как ночь, сукно на нём сидело,
Как вольный дух
Шатавшихся, как он, без дела
Ноябрьских мух...

Откровенно презирая штатское население города Феодосии, генерал Яша рядился в карнавальное— то доломан, то черкеска,— лузгая семечки перед штыковой, на что главнокомандующий заметил: «Кто так воюет— пусть рядится во что хочет». В двадцатые годы Крымский-Рымникский жаждал свободы и был свободен на пространстве из нескольких таврических губерний. Спустя немногим более полувека мы жаждали свободы и были свободны на крохотном пигментном пятнышке своей высоты, называемой Киселёвка.

Нагретая щедрым киммерийским солнцем килловая макушка с края тепсеневого лысого холма служила нам одновременно поляной Диониса, горбатым Монмартром, арт-подвальной «Бродячей собакой»— той уникальной сакральной реальностью, над которой, соединённые построением в круг, мы воскурялись, лучась радостью от избытка простора извне и остро-пьянящего ощущения свободы внутри. Наш десант, наше гульбище-вольнице продержалось на этой высоте

до ранней весны— марта 1981 года, когда приказом сверху сожгли, полыхнув огнёмётным языком, остов киселёвского дома, но не остров Свободы. В сущности, давно следовало бы поставить памятник генералу Крымскому, пусть в том же Джанкое, всё-таки он придержал полой своего доломана на какое-то время карабканье Белы Куна по лестнице на вышку к Максиму Волошину.

В тридцатые годы прошлого века по железной дороге в Крым добирались с пересадкой. На той же станции Джанкой Михаилу Булгакову, чтобы пересечь на поезд до Феодосии, надо было прожидать на платформе семь часов, пляясь на связки сушёной тарани, косы красного лука и суетливо переваливающихся, похожих на большие груши белых гусей, либо вернуться в свой вагон-ресторан, где на скатерти в стеклянных бутылках мелкой чечёткой подрагивало прозрачное боржомы, задумчиво, не спеша,— рубиновое полудрагоценное вино. За две недели до этого Михаил Афанасьевич, служащий одной из столичных газет, будучи не в состоянии без неврастенического флёра долее глядеть в надтреснутое пенсне соседствующего с ним по редакционной комнатке секретаря, собрался на юг— отдохнуть, вдохнуть чуток свободы.

В какое место Крыма?..

«— Естественно, в Коктебель,— не задумываясь, ответил приятель.— Воздух там, солнце, горы, море, пляж, камни. Карадаг, красота!..

— Я еду в Коктебель,— сказал я второму приятелю.— Я знаю, что вы человек недалёкий,— ответил тот, закуривая мою папиросу.

— Объяснитесь?

— Нечего и объясняться. От ветру сдохнете.

— Какого ветру?

— Весь июль и август дует, как в форточку. Зунд...

— Я в Коктебель хочу ехать,— неуверенно сказал я третьему и прибавил:— Только прошу меня не оскорблять, я этого не позволю...

— Счастливцев! Море, воздух, солнце...

— Знаю. Только вот ветер—зунд.

— Кто сказал?

— Катошихин.

— Да ведь он же дурак! Он дальше Малаховки от Москвы не отъезжал. Зунд— такого и ветра нет...

В купленной на Кузнецком мосту книжке в ядовито-синем переплёте с золотым словом „Крым“ было написано следующее: „Причиной отсутствия зелени является «крымский сирокко», который часто в конце июля и августа начинает дуть неделями в долину, сушит растения, воздух насыщает мелкой пылью, до иступления доводит нервных больных... Бесперывный ветер, не прекращавшийся в течение 3-х недель, до иступления доводил неврастеников... и больной чувствовал себя хуже, чем до приезда в Коктебель“.

(В этом месте моя жена заплакала.)

Дверь открылась.

— Вам письмо.

В письме было: „Приезжай к нам в Коктебель. Великолепно. Начали купаться. Обед 70 коп.“

И мы поехали...»

(М. Булгаков, «Путешествие по Крыму»)

Ровно через двадцать лет после удачного слазовского десанта на коктебельский берег был высажен отвлекающий, читай — изначально гибельный, десант с подводной лодки в декабре 1941 года.

Запись из вахтенного журнала подводной лодки «д-5» (проект «Декабрист»): «29 декабря. Район Коктебеля, оз часа 30 мин. Десантной группе наверх с оружием». Продержавшись двенадцать часов, десант практически был полностью уничтожен. Из двадцати девяти краснофлотцев в живых остался один.

Черноморский десант положили немцы пулемётами сразу. Моряки карабкались вверх по килу на щель дзота, соскальзывая, а пулемёт зло плевался свинцовыми семечками, выбивая их одного за другим.

Волошин купал свою бороду в Чёрном море (после землетрясения 1927 года похожесть стала ещё более очевидной), когда мотоциклетами по Крыму протарахтели немцы. Отряд выгрузился во дворе дома поэта и тотчас приступил к рубке на топливо раскидистых ветвей акаций, неудобных метёлочных кипарисов, заодно косясь на мольберт Макса из ёлки, когда на верхней площадке их неожиданно встретила фурия.

В мастерской Волошина герр офицер, фуражка в руке, обнажив белокурый затылок Зигфрида, — почтительно в сторону хозяйки:

— Их бин поклонник ваш супру!

Мария Степановна — руки сурово под фартук, губы сомкнуты. Все ответы — телепатически.

— У, шайтан, собака. Чтоб ты провалился!

Офицер:

— Как же, Дорнах. Герр Штайнер...

Мария Степановна, не вынимая рук из-под фартука:

— Ах, гяур неверный! Разбомби тебя Ворошилов!

Зигфрид, отводя монокль от японских гравюр:

— Пока я тут стояль, никто вас не трогаль. Фюррер ценит культуру!

Мария Степановна:

— Шайтан, шайтан! Чтоб тебе повылазило. Уноси ноги, бисова дитина!

Вот так, можно сказать, на стыке двух культур, был спасён слепок египетской царицы Таиах.

Четыре скорбные головы под бескозырками, тяжёлыми подбородками в землю, — память от поссовета. Четверо из десанта 1941 года. По главным праздникам на этот цемент, на эти сомкнутые челюсти вешают венчики из цветов. А дальше снова мир и благоденствие.

Петербургская, московская интеллигенция протянула свои бледные тонкие руки к сухим, растрескавшимся от зноя участкам земли в Таврии в пятидесятые годы прошлого века. Ещё раньше здесь поселились Арендты, Изергины, Менчинские — крымские аргонавты.

На тех же пустынных склонах обретался ещё один привилегированный класс, носивший красивую форму — шлем, кожанку на плечах, приминавший шасси вихрастый непослушный ковыль. Нацепив очки и краги, лётчики кружили над местными вершинами, размахом своих крыльев сбивая с толку ястребов и соколов. Не вернувшись из полётов было так мало, что их имена умещались на лопастях единственного пропеллера, стоявшего на столе в сарае, последний служил одновременно ангаром. Восточный берег с удобными посадочными площадками, восходящими и нисходящими воздушными потоками приглянулся тем икарам, что никогда не внимали своим дедалам. Бурая жертвенная кровь, впитываясь в склоны горы Клементьева, возвращалась по осени цветом скумпий. За авиаторами, цепляясь за колючий шиповник, потянулись в Киммерию конструкторы: С. Ильюшин, А. Яковлев, О. Антонов, А. Микулин.

Двигатели Александра Микулина полюбили англичанам. Английское правительство, украшенное королевским монархическим домом, отметило талант последнего, наградив его в числе других английских рыцарей орденом Бани. По английским законам, владевший орденом Бани не мог не быть эсквайром. В Крыму стали раздавать участки авиаконструкторам. Утверждение о том, что Микулин в действительности был награждён орденом Бани, остаётся пока под вопросом. Но то, что у него в непосредственной близости от Киселёвки был участок, со временем проданный драматургу Рюрику Баранову, так же точно, как и то, что британским орденом Бани был награждён советский маршал Георгий Жуков, а авиаконструктор Ильюшин поселился под Алуштой, в местечке под названием Профессорский уголок, впоследствии переименованном в Рабочий уголок.

Изобретатель моторов запомнился соседям своими причудами, а именно страстью к сохранению молодости. Не чуждый общества комсомолок, он приковывал себя то ли к медной, то ли к оловянной ножке кровати, с целью подпитаться полезными отрицательными ионами. В окружении столь великолепных закатов и рассветов невольно хочется протянуть подольше. Желание пребывать в отличной форме в Планерском извинительно даже и не авиаконструкторам; менее изобретательные ограничивались тем, что вдыхали в себя рассвет. Последователи шумерских, египетских и иных школ частенько взбирались на голое плато Тепсея поздороваться с солнцем. Именно здесь

я познакомилась с последователями школы Иванова, в любое время года ходящими по всему твёрдому босиком, обливающимися круглый год ледяной водой.

Чудный дед, борода лопатой, ещё в тридцатые годы прошлого века стучался в кремлёвские ворота, чтобы побудить членов ЦК КПСС обливаться на морозе. Когда в наши пределы вторглись немцы, Иванов, памятуя пользу для тела, начал пропагандировать им ту же гимнастику. Первой суровой зимой сорок первого года немцы с чего-то начали катать его голого по ночам в своей мотоциклетке. Как-то у них перепуталось, кто кому и чего должен был доказать. Оцепеневшие от холода в шинелях немцы катали весёлого краснощёкого деда из «Морозко», пока их самих, собственно, не укатало русское здоровье.

Мечта о гармоничном теле, о том, чтобы подтянуть себя до уровня местного пейзажа, ибо кругом всё так прекрасно, всё по Чехову, засела в складках местного ландшафта. Волоокый Макс, знавший, как заклинать, рвущийся вверх, кудреватый огонь, ни в чём не уступал Иванову, ладившему с неизменно устремлённой долу стихией воды. Ученики шествовали за своими гуру. Вполне возможно, что члены-корреспонденты из научных городков, шатаясь на закатах на Карадаге между фигур выветривания Мёртвого города, мечтали ловить голыми руками молнии.

В долине три четверти разговоров на верандах так или иначе были посвящены лечебным свойствам местной глины, пользе от сыроедения, мистическому кизиловому варенью. Юра Киселёв, как истый коктебелец, также был не чужд программ оздоровления. В его записной книжке хранились всевозможные рецепты, укрепляющие *corpus*, из предпочитаемых — салат из листьев крапивы. Своей юной жене Ирме, пребывающей в деревне, друг не раз наказывал насытить на зиму крапивы.

Киселёвым «выстрелили» на этот пустынный пляж в 1956 году — пляж, который, по определению Михаила Булгакова, всё ещё оставался одним «из лучших на крымской жемчужине: полоска песку, а у самого моря полоска мелких облизанных морем разноцветных камней».

Явление Киселёва на коктебельский брег было грандиознее явления Ифигении в Тавриде и прохода по соседней Фракии культурного героя Диониса. На самом деле его, как морское божество, — его музейный торс, конечно, продолжался невидимым, клубящимся кольцами, мощным, источающим страшную энергию телом карадагского змия, — обязано было выплунуть на берег море, и если не в раковине и в миртовом венце, то хотя бы с небольшим трезубцем для вскрытия консервных банок. Но Юра почему-то явился в Тавриду с Тверского бульвара и не в пенном наряде, а в хлопчато-штапельной материи послевоенных

лет: вылинявшей рубашечке в клеточку из сто-процентного *cottona* и тёмном затёртом лоскуте на вынужденно запаянных снизу шортах.

Явился он, познакомившись на протезном заводе с Ариадной Арендт, также пострадавшей от трамвая, по приглашению и на призыв, что в Крыму инвалидам раздают бесплатно участки. Кажется, он даже опоздал к разбору крымской земли, так что ему, как вскочившему в очередной раз на подножку всего уходящего, пришлось платить свой штраф — долго и нудно поить водкой скучных, но нужных людей, отчего к концу он весьма подустал, но в итоге примкнул к тонкому слою крымских лагифундистов.

Его скромный прикид многие, кстати, опровергают, утверждая, что он был не чужд излишеств. Однажды на подаренное ему льняное полотенце для растирания плеч и шеи он, разнеженным Калигулой, в ответ капризно протянул:

— Ах, уберите, я люблю мягкие полотенца.

В другой раз он был замечен на собственной свадьбе в бабочке, съехавшей сильно вбок к концу застолья. Свадьба запомнилась ещё и тем, что с полки стеллажа ему на плечо сверзился здоровенный утюг из семейства старинных чугунных, на что жених отметил краткой репликой:

— И ты, Брут!..

Спустя недолгий промежуток времени Юру видели на коктебельском пляже, прогуливающимся в одиночестве, практически как лорд Байрон, вдоль берега моря. Медовый месяц. Куда, как не в Крым?

Бацилла свободы, гудящая зурной ночами в скифских курганах — достаточно прильнуть ухом к телу Тепсеня, — заразна почище любой холеры. Фаланга, к которой меня приписали, не спрашивая, десантировалась в зону Коктебельской бухты в середине семидесятых — советские забубённые; и в обмен на отсутствие сервиса и рекламы мы успели захватить великое ничто Коктебеля. Тишину Бога. Пустоту земли. Величие ветра. С пирса — в безлунный мрак, во мраке всех округов и полуокружий в направлении левой руки — только короткая ниточка бусинок Орджоникидзе, и направо вдаль и вверх — одинокий огонёк на кордоне.

Холерный год

На Дерибасовской случилась холера,

Её схватила одна б... от кавалера.

Пусть Бога нет, но Он накажет эту бабу,

Что в подворотне где-то видала арабу.

И вот от этой неразборчивости женской

Холера прёт теперь по всей Преображенской...

К. Беляев

Жаркое лето середины семидесятых было озаменовано моим первым самостоятельно-самодеятельным выездом в Тавриду. Я и до этого наезжала в Крым, но прежние поездки, проходившие под

опекой родителей, с неизменной передаваемой мне на верхнее место куриной ножкой, никогда не рассматривались как имеющие хоть какой-то смысл.

На этот раз, грузясь в плацкартный вагон поезда по маршруту Москва—Феодосия, перевалочный пункт, откуда—в Планерское (определённое Советами название для болгарской деревни Коктебель), я уже знала, зачем я путешествую в Край Голубых Вершин, минуя всех родственников, осевших в городе с большим грузовым портом, железнодорожными шпалами, проложенными вдоль моря (подарок главного живописца горожанам), и фрагментами генуэзских крепостей. Отправлялась в путь я исключительно за новым состоянием—тревогой: так тривиальным языком определялся мною некий внутренний подъём. Источником данного волшебного ощущения, которое накаливало мою обычную сорокаваттную лампочку в Москве до решительных двухсот на берегу Коктебельского залива, долгое время оставались кино и пластинки. Впоследствии тревога добывалась посредством неумеренного употребления кофе и продолжительных ночных разговоров с верной подругой. В открытом летнем кинотеатре Феодосии, на набережной, рыкающий лев братёв Майеров, после которого патакой—золотой голос Марио Ланца навсегда связали в моём сознании глухое ворчание тёмного моря с чёрным небом, утыканным блестящими шляпками звёзд. Отсутствие дневного света и присутствие ночного счастья с лёгким ветерком над головой.

Пожалуйста, подождите.

Не испытав в достаточной мере божественно-тревожных чувств в браке, я была благодарна мужу за то, что он не уклонялся от алиментов (дочка на попечении бабушки), так что я могла позволить себе в месяце цезарей—августе, когда звёзды особенно ярко над киммерийскими холмами и особенно часто и охотно скатываются со своих небесных скамеек по жерлу вулкана Карадаг в подол Тепсеня на загад любого желания, приобретя место в плацкарте, провести последние недели лета в гостях у Юры Киселёва на его даче в Крыму, по его приглашению.

Ехал он тем же поездом, в купейном вагоне, по билету, купленному для него друзьями, и, как рачительный хозяин, вёз в коробках, свёртках и сетках наполнение для своего строящегося не кукольного дома. Я и моя подруга Леночка как раз проходили сквозь бряцающий неустойчивый мир плацкарта, стараясь поскорее проскочить мрачный, зыбкий тартар тамбура, клацающих Сциллу и Харибду стыков межвагонья, в купейный отсек к Юре, чтобы ехать на юг как положено, веселясь и в компании.

Юрка торчал на верхней полке, вернее, лежал на боку, подперев рукой голову, которая без двух

третей положенного ему крепкого хемингуэевского тулова казалась огромной, как у маленького Мука, и травил анекдоты:

— «Владимир Ильич (Горький—Ленину), а не пойди ли нам по девочкам, недорого, по рубчику?»— «Никаких по гупчику! Дагом! Дагом! И Феликса Эдмундовича с собой пгихватим—кгистально чистой души человек!»

Всё в этом старом купе сотрясалось так сильно, как будто мы катили по американским горкам или от времени сторбатились рельсы. То было время тотальной запущенности всех железных дорог, не только южно-харьковского направления. Дёргалась лысеющая Юркина голова, несколько свесившаяся вниз, чтобы видеть наши глаза; подрагивал грузинский чай в стакане, облачённом в торжественный серебряный китель подстаканника,—столь никчёмно-отсутствующий на вкус, будто он был родом не из солнечной Колхиды, а добывался из смолотого в пыль унылого подмосковного штакетника. Не спасали подкрашенный кипятик и спущенные в него со стапелей чайных ложечек два прямоугольных брикетика сахара.

Тряслись от смеха мы с Ленкой, потому что анекдоты про Ильича и железного Феликса, которыми Кисель, как семечками из кульки, щедро рассыпал вокруг, были глуповатые и смешные. Мы смеялись и в благодарность передавали из наших запасов лирнику на верхнюю полку духовитую ливерную колбасу в суровой серой бумаге и жёлтое пенящееся пиво в мутном стекле. Весьма скоро Юрке понадобилось в туалет. Попросив нас подставить на пол его тележку—деревянный поддончик на колёсиках, он совершил ряд акробатических кульбитов: опираясь на руки, как-то перелетел, как игрушечный паяц на перекладинке, сначала на стол, потом на нижнюю полку и утвердился на тележке, закрепившись на ней с помощью ремня.

Надо признать, руки у Юрки были невероятной силы. Руки—стволы строевого леса, длинные и могучие, руки—стропила, которые он отменно разработал за двадцать с лишним лет с того памятного утренника. Верхние конечности служили ему вместо ног и костылей, а по качеству стального отжима и совершенного зажима были доведены до уровня тисков. В памяти из преданий о нём, почти из греческих мифов от Куна, сохранилось одно—о его поездке в южном экспresse.

На конечной железнодорожной станции Москва или Феодосия, не важно, Кисель, не без помощи посторонних поднятый в тамбур, вкатился в купе, забрался, как обычно, подтянувшись на руках, на верхнюю полку и заснул. В том же купе на нижнем месте ехала дамочка, а по пути подсел подвыпивший мужичонка, который в темноте укороченного спутника не заметил. Ночью в мужичке разгорелась нешуточная страсть, и он сунулся к дамочке похотливыми мыслями

и потными ладонями. И можно себе представить ужас сладострастного пассажира, когда нечто кинг-конговское неожиданно прыгнуло сзади ему на загривок и стало душить. Вот такими руками, следует добавить — заслуженно, обладал Юра Киселёв.

Мы забрались с ногами на нижние полки, чтобы дать ему место освоиться на полу. Он ещё ту же затянулся ремнём. Застегнул, что очень важно, две основные серединные пуговицы на распахнутой рубашке с короткими рукавами, если бы были волосы погуще, непременно прошёлся бы ладонью по пробору, натянул на свою скаляющуюся физиономию сатира грустно-меланхолическое выражение и, подхватив два деревянных брусочка, что были у него за копытца, отталкиваясь ими от пола, выкатился в коридор вагона. Из коридора до нас тут же донеслось озабоченно-торжественное: — Граждане, пропустите инвалида!

Ещё, оттянув не без усилий и лязга до отказа тугую упрямую дверь купе, я выходила в коридор поглядеть на проплывающие плавно пейзажи за окном, укрощая то и дело вырывающуюся из рук, бьющуюся на ветру белую шторку, постепенно укачиваясь под монотонный перестук колёс. В лучшие годы хотелось ехать долго. Какие-то маленькие босоногие ангелы бежали за зелёной змеёй поезда, энергично махали ручками вслед. Только ангелам это могло доставлять такое удовольствие.

Стоял месяц август. Было жарко. Пива мы выдули много, и в синем смеркающемся пространстве вагона то и дело раздавалось:

— Инвалида... граждане...

К слову, не всегда у Киселя был припасён билет в купейный отсек. В некий сезон, идеально — с другом-попутчиком, он ударил автопробегом по бездорожью и разгильдяйству на своей головной машине «Лорен-Дитрих» — инвалидке с ручным управлением — по ухабистой трассе Москва — Крым. Любящий во всём воздух веселья, сам служивший многим озоновой подушкой, огибая простодушные деревни, он неожиданно прикидывался перед пейзажем и всем, что могло его лице-зреть, не тривиальным факиром или «папой-студбеккером», а ошарашивающе — бюстом вождя.

«Ленин, Ленин, открой глазки! / Нет ни водки, ни колбаски...»

Пока друг справлялся с ручным управлением «Дитриха», Кисель, выбравшись на край багажника, натянув на бровь пресловутую кепку, накинув сметливо на свою физиономию знакомый оскал и прищур, вытянув в направлении зари коммунизма левую длань, задиристо кидал в сторону опешивших селян с обочин вопрос, тут же отвечая на него предположением:

— Как живёте, то-ва-гищи?.. Ви-ди-мо, х...ёво!..

Единственное пыльное облако, отколовшись от ёрничающей инвалидки, уносившей, подпрыгивая,

на своих, не без царапин и вмятин, боках бюст вождя, оседало на честных людях с околицы, в некотором роде оторопевших.

Но вернёмся на жаркий, с видом на «самое синее в мире Чёрное море моё», феодосийский вокзал. Поезд лениво достучал нас до Феодосии, на последних метрах открыв в окна купе всю долгую линию городского песчаного пляжа со всеми мокрыми и обгоревшими к этому часу гражданами нашей необъятной страны. Час высадки на киммерийский берег был ознаменован пересечением ещё одного рубежа — омовением колёс киселёвской таратайки в карантинной луже.

В то засушливое лето, гуляя вдоль арыков по новороссийским волостям, холера просочилась в Крым. Зараза бродила где-то в тех степях, где в своё время заплутал матрос Железняк, потому как он, бедолага, шёл на Одессу, а вышел к Херсону. Так и мы, оставив за спиной окраины Феодосии, должны были выйти из машины на посту, кажется, на развилке у села Насыпное и совершить акт омовения в полезном антибактериальном растворе. Рубикон был перейдён, стихия воды сняла отпечатки с узоров подушечек наших пальцев, сетчатки глаз, душ и в согласии с остальными стихиями выпустила нас на сакральную территорию юго-восточного Крыма, запустив для каждого свой хронометр.

Отметитировав рассеянно взором по залысинам пологих холмов, уткнувшись ненадолго во всхолмья мадам Бродской (реально существующей жены адвоката из той же Одессы), переведя фокус зрения за правое плечо, глаз отмечал короткую гребёнку тополей, аллеей, уводящей к подножью горы Узун-Сырт — «длинный хребет», напоминающей своей формой кекс. Держа направление на юг по старому судакскому шоссе — «*Via Strata Sugdaiensis*», отмеряя мысленно циркульем в воздухе послушно стелющиеся под колёса километры, мы добрались до точки, где от поворота направо покачивался, приветствуя нас на штыре неуклюжим флюгером, крупный самолёт. И вдруг на «ах» и вздох занавес отдёрнули, и перед нами возник силуэт чего-то явно театрального, вырезанного острыми ножницами фирмы «Золинген».

Абрис Карадага так и просится на силуэт. Быстрый проход ножницами по профилю лежащего Пушкина — он и писал-то в основном лёжа — к заносчивой кисточке пика Сюрю-Кая, далее неторопливо, широкой амплитудой по пологой спинке мшистой Святой, а оттуда по вздыбленному загривку динозавра Кок-Кая скатится волошинскими лбом, носом и бородой в самое море. С каждым годом море любвеобильным щенком слизывает с его подбородка всё больше портретной схожести. Когда-нибудь черты поэта сотрутся окончательно, что для горного рельефа не так страшно, как для человека (смотри историю с известным бурятским ламой, семьдесят лет назад по своей воле

запеленавшим себя в куколь, застывшим холодцом на пороге между жизнью и смертью, со смазанными, будто тряпкой, чертами лица).

Силуэтное ремесло в двадцатые годы прошлого века уважала коктебелка Елизавета Кругликова. Благодаря её театру теней в копилку Серебряного века добавлено ещё несколько изображений известных поэтов. Виртуозный пассаж кладеющим клювом ножниц, испарывающим хрустящую бумагу,— и в профиль, в ряд, как на павловском плацу, выстроились, цветом в беззвёздную, чернильную ночь, камейная Ахматова, амбициозный, в погоне и крестах, Гумилёв, Пастернак, чьи волосы, ресницы и галстук нервно рыбит Муза поэзии, ушедший подбородком в белый воротничок, доцент Максимилиан Волошин.

Острые лезвия кроют кардиограмму от низины к вершине, от пика к пику, утыкаясь наконец носом в море.

— Как пройти к морю?

— Идите прямо.

— А где море?

— Море там, параллельно шоссе.

— Идите туда, на взмах руки, не ошибётесь.

— Туда, туда, море там, за деревьями...

Писательский эдем

*Хожу,
гляжу в окно ли я—
цветы
да небо синее,
то в нос тебе магнолия,
то в глаз тебе
глициния.*

В. Маяковский

Если подняться на Тепсень и повернуться спиной к Сюрю, узришь суповую ложку с синим бульоном, окаймлённую слева сопками, по чьим щекам глубокими царапинами прорисованы балки. Покатое плато Тепсеня с широкой дорогой-пробором под арбу на перевал было общим любимым местом. На него всегда устремлялись люди бросить взгляд на профиль Пушкина с Сюрю-Кай, растереть между пальцами пахучую полынь, ковырнуть веткой в заброшенном раскопе. Своим долгим цветением глаз радовали татарник и ажурный кермек— поднятые к солнцу водоросли холмов цвета фиолетовых морских глубин.

На северо-востоке, на самой вершине горы Кучук-Енишар,— могила Макса Волошина. Осыпающиеся склоны спускаются уступами к бухточкам Мёртвая, Тихая. Мёртвой бухте название присвоено за то, что вода в ней стоит практически без движения. В Мёртвую бухту частенько прибывает различный сор: трава, водоросли, мёртвые чайки. За глиняным мысом Хамелеон, или Топрак-Кая, помеченная деревьями серебристого лоха,

вытянутым полумесяцем нежится песчаная бухта Тихая. С противоположной стороны мыс Мальчин, стерегущий пока ещё профиль поэта, закрывает от тебя самые драгоценные бухты Карадага.

В районе совхоза «Коктебель», в торце подступающей с севера полосы камыша, на невысоком кургане выделялось затоптанное захоронение офтальмолога Эдуарда Юнги, со всей решительностью выдернутого за ноги из своего убежища в сороковые годы прошлого века. Мирный окулист после смерти каким-то образом послужил воинственному духу Марса. В Отечественную войну первыми в него пальнули из пушки немцы, ошибочно приняв выступающее над морем захоронение за дот. Впоследствии освобождённый от останков свинцовый гроб сгодился нашим на переливку пуль. Захоронение Юнги—своего рода географический рубеж, после которого посёлок Планерское являл себя непосредственно во всей красе цивилизации.

От золотого волошинского века в наследство последующему перешло достаточно много: не обезображенный частными строениями рельеф, не пропускающие стражу горластые петухи, дурные, кидающиеся под ноги собаки, но зато и первозданный песочно-галечный берег с краплениями в драгоценное лидо полудрагоценных камней, террасы, убранные курчавым виноградом.

В посёлке с малым количеством белых домиков под татарской кровлей, укутываемых на ночь кромешной темнотой, на его проулках, подъёмах и спусках ценились обыкновенные спички и более сложные источники света—разнообразные фонарики. Фонарики—от зелёных жестяных коробочек, по которым следовало постучать, чтобы достучаться до тонкой струйки света, до заграничных китайских, с блестящим рыльцем на конце и клавишей для вызывания светового луча. Большим, забытым кем-то фонарём, поставленным в лужу зелени с высоким тополиным зачёсом, смотрелся с пирса дом Волошина. По вечерам на его веранде долго горел огонёк. По телеграфным столбам агатовыми пепельными бусинами замирали горлинки.

Писательский альгамбровый дворец, выходящий на центральную часть набережной белой мордашкой своей столовой, густо затянутый в июне ядовито-фиолетовой тинной глициний, со слипшимся на белом гребне крыши вензелем из букв «С» и «П»—«Союз писателей», для всего остального населения земного шара являл собой очевидный эдем. Вход в рай, как и должно по статусу, обязано было охранять чудовище. Таковым чудовищем являлась местная жительница посёлка, с низко надвинутым на лоб хлопчатобумажным платком, с зычным грубым голосом, пугавшим собак в округе, по прозвищу Баба Гитлер. Мимо такой не проскочишь. Однако мы проскочили.

Один раз, и даже не просто за калитку соловьиного сада на его чисто метённые дорожки с редкими по ним милыми веточками с акаций, с его кортом, в котором — Евтушенко в рубашечке апаш, а прямо-таки в беленький летний кинотеатр на вечерний восьмичасовой сеанс, который в Крыму наступает так быстро после ослепительного дня.

В премьерном месяце августе отдыхающих писателей на юго-восточном побережье Тавриды собралось не так много — всё-таки холерный год. На площадке перед писательской столовой на каждого можно было поглазеть — на Чингиза, на автора из Чегема, на других, «турсующих своё заде» на фоне свежеекрашенных булек ограды. В иные, более благополучные сезоны поэты выдавливались порциями из ветвистого сада, растекаясь ручейками по эспланаде: Рождественский и Евтушенко, Слуцкий и Поженян, Межиров и Давид Самойлов; одинокой виноградной косточкой — высокочтимый Булат Окуджава.

Писатели вылуплялись в большом количестве из икры Волошина — а как иначе? — каждый сезон. Они вливались в набережную, выплывая из своих тенистых элизиумных садов в любое время суток: до и после завтрака, перед обедом, непосредственно после полуденного сна, вместо ужина, хотя последнее вряд ли. Заслуженные мастера художественных слов, казалось, уже рождались в мягких панамах, махровых халатах с махровыми же полотенцами через плечо. Театрально раскладываясь друг перед другом, они направлялись к первой ласковой волне, на свой элитный берег, владея беленьким пропуском с начертанным на нём расписанием работы пляжа. Пляж, на коем — деревянные, длинные, крашенные под цвет моря скамейки под высоким навесом, выкрашенным той же краской в тот же цвет. По мелким, тем самым, облизанным, на второй шаг в воду — песок. Территорию пляжика украшали два аккуратных дощатых кубика раздевалок, единственных в посёлке. Никто из писателей ни разу не забыл свой махровый халат на скамейке.

Мы провожали писателей взглядом в спину, не завидуя, потому что знали, что их ждёт в номерах, порой с ограниченной подачей света и воды. А грозило им только одно: подтянув к себе со стола авторучку (для небожителей Союза — с золотым пером) — работать. И снова работать. Нам же, следуя призыву плаката из соловьиного сада: «*Тише! Работают писатели!*» — велено было молчать. Но это нам как раз было и невозможно. Мы верещали и визжали на солнцепёке, дёргаясь руками и ногами, как обезумевшие марионетки, потому что были отчаянно, неправдоподобно молоды и свободны.

Эти драгоценные состояния, обретенные однажды в нищем, продуваемом любым из лепестков от розы ветров на выбор посёлке, обязаны

были продолжены на как можно более долгий срок, идеально — навсегда. Посёлок, судя по названию, начинённый планерами, взмывающими в свободное небо, а если и падающими — то также в открытое море, со всем остальным мирозданием перекликался единственно возможным телеграфным стилем: «Я сбежал, сорвался в Коктебель». Как если бы, не выдержав, схватил рукой кислородную маску и, тут же прижав её к лицу, судорожно вдохнул воздуха, чтобы ожить и жить. Вот отчего некоторые из наших братьев, зайдя на почту и оплатив за каждое слово положенную таксу, отправляли в отчие места исторические послания с просьбой уволить их по собственному желанию, так как, прочувствовав вкус опьяняющей свободы, больше просто ну никак не могли посещать свои учреждения, фабрики, заводы и так далее. В ответ на отправленные послания получив от телеграфа в последующие сутки исключительно молчание, приняв его за знак согласия, безработные переходили на акварель и глину и, трудясь с утра на пленэре над пейзажем и ювелиркой, старались продать искусство к вечеру. С голоду никто не умер.

...Пускай работает рабочий
Иль не рабочий, если хочет,
Пускай работает кто хочет,
А я работать...

Автор этих строк Алексей Хвостенко, проще — Хвост, лично выходил в закатанных штанах с лейкой на пляж на промысел, заработанное дружно пропивалось на Киселёвке.

Хочу любить-трубить на флейте,
На деревянной тонкой флейте,
На самой новой-новой флейте.
А на работу не хочу.

Гуляли по единственной широкой тропе вдоль моря, по которой можно было фланировать свободно днём и с осторожностью ночью. Частный сектор Дома писателей не давал разрешения пересекать их озеленённую территорию в дневные часы. Однако встреча с писателями всегда бывала неожиданной и неизбежной. Пересекая воздушные и сухопутные писательские пути во всём линиялом и радужно выцветшем, выделявая пятками в пыли джигу, мы устремлялись всегда в хвосте процессии за Дионисом по единственному маршруту: продолжить тур аперитивов, которые заменяли нам завтраки, обеды и ужины, питаясь исключительно глюкозой от Бахуса.

Обособленно, отдельными стайками, не спеша, выставив вперёд узкие фазаньи грудки, фланировали пассажиры с ленинградского состава. Просвечивая тусклой бледностью, откашливая сырой петербургский воздух, они гляделись победнее весёлых энергичных москвичей, выделяясь особой балтийской спесью. Чтобы противостоять фасону

Северной Пальмиры, а также отстоять честь диспутов, зарождающихся в очереди за коктейлями в дощатую палатку на территории турбазы, мы выдвигали своего поединщика — столичного поджарого физика с бородкой, с красивой еврейской фамилией Лурье, единственного, надевавшего по вечерам водолазку.

Самым дорогим коктейлем из перечисленных на обычном листке в клетку выставленного под стеклом палатки прејскуранта, значился коктейль «Луна» с добавлением коньяка. Его-то и заказывала вся очередь. Если из окошка раздавался голос, оповещающий, что «Луна» закончилась, очередь моментально распадалась и расходилась.

Бацилла Эссекса заразителна. Я замечаю, что эти тропы всегда были отмечены явлением людей, находящих особое удовольствие в саморазрушении. Видимо, вулкан время от времени всё ещё плюётся ядовитой серой. От нашего соседа по Киловой горке, драматурга Рюрика Баранова, веяло холодком и очевидно пахло серой. Мефистофель местного разлива Рюрик, карадагский грифон, осевший в гнезде Микулина, почти кавалера ордена Подвязки, имел высокий дом на краю обрыва, смахивающий на готический замок с высокой остроугольной крышей. Босонogie ангелы Коктебельской бухты, окрашенные в халцедоновые и агатовые тона, прикладывая пальчик к губам, осторожно отворачивали тебя от его бархатной шапочки с пером. И, несмотря на то, что солнце било прямо в глаза, в этой плывущей в зное тебе навстречу фигуре ты различала целиком весь его отсверкивающий рыбьей чешуёй костюм: трико, короткий камзол, высокий плёный воротник, прятавший выступающий шляпкой среднего мухомора кадык, и узкую трость, в которой до времени нежилась ядовитая шпага. Всё чрезвычайно острое и резкое. Оценивающий взгляд и стреляющий трассирующим пунктиром, заставляющий неожиданно резко дёрнуться в сторону тиком острый подбородок.

Кадык и монокль театрального кавалера постоянно были устремлены на худых, с выступающими ключицами, девиц. Обычно шевалье выступал на вечерней прогулке с тростью, ловя на наживку — планетарий с подозрительной трубой в мансарде — невинных Маргарит в коллекцию маршала Жиль де Реца. Этот очевидный персонаж с Патриарших прудов, раздающий реплики своим персонажам, каким-то провидением оказался на эвксинских берегах. И здесь бы он пригодился, попадись ему на глаза доктор Фауст. «Корабль испанский трёхмачтовый...», «Всё утопить!». Но эти замученные ножницами берега давно уже сдались другому верховному жрецу с посохом и в полынном венке.

Главный волхв, ведающий, как заклинать огонь, не мешал комиссарам мутить верёвкой море, так

что в конце концов они вытянули из него одного чертёнка и бросили его сохнуть на берегу. В перерывах между заклинаниями полынно-венковый Макс посещал пороги опасных учреждений, вызволяя незадачливо попавших в силки узников. У него была своя метода вести переговоры: он говорил с «ними» тихим голосом и, войдя в кабинет, обращался исключительно к ангелу-хранителю того, от кого зависела судьба арестованного, что давало неожиданно положительный результат.

После столь мощных гениев места, как Юра Киселёв или драматург Рюрик Баранов, физики почитались в Планерском людьми, равными почти писменникам. Физики и лирики одинаково имели право на свой тазик с персиками. После них шли только планеристы. Но эти любители воздушных потоков, забуревшие от побрательников-ветров, замкнутые, сосредоточенные на том, чтобы не ткнуться своим аппаратом в склон, находились от нас на порядочном расстоянии. Планеристы и парапланеристы безвылазно стояли станом на гладком рельсовом участке горы Клементьева и казались тёмным германским племенем, почти варварами. Они не имели никакого влияния на светскую жизнь посёлка. Большую часть времени, оторвавшись от ковильного склона, оседлав нужные им воздушные потоки, они зависали над лысой горой гигантскими комарами. В лёгкую погоду комары стояли завесой над Узун-Сыртом постоянно.

Как-то в один из сезонов на Карадаге — Чёрной горе — погубило много физиков; более того, они опередили в этом даже планеристов. В своём безудержном стремлении одолеть вершину, чтобы возгласить, что «лучше гор могут быть только горы», туристы вступали на осыпающуюся тропу — есть определённое коварство в легко возбудимой нервной системе вулкана — и, какое-то время скользя по сыпучке, срывались в бездну. Известен случай, когда спасатели, спустившиеся в Львиную бухту забрать тело член-корреспондента, обнаружили, что оно приземлилось на труп девушки, разбившейся об эту скалу прежде. Обрывающиеся в пропасть тропинки под отрицательным углом, коварные, выскальзывающие из-под ног камни, осыпи — всё это заставило власти в конце концов подумать о том, чтобы определить древнему потухшему вулкану Карадаг статус заповедника. Произошло это в 1979 году.

По ходу наших маршрутов мы спускались к морю поминутно по разным требам: омыть в нём кисть винограда, ополоснуть стакан или просто с ним поздороваться. Опускались не на крашенные скамейки, а на топчаны, разбросанные в той части берега, для которого не нужно было выписывать пропуск. В холерный год отдыхающих было меньше, чем обычно, а топчанов — столько же. В общем, как-то было много топчанов. Всё-таки

наша страна деревянная. Топчаны заменяли нам и стол, и стулья, и кровать. И, бывало, к ночи, после пиришественных возлияний на пляже: портвейн, вермут, Біле Міцне— белое крепленое (с пиром— горка баклажанной икры на краюху ржаного хлеба, без пира— семечки от незрелого яблока),— и соответственно возлежаний у прибрежной волны на топчанах, практически в тогах, на заимствованных на время у южного железнодорожного ведомства казенных одеялах; не желая расставаться, уходя, мы тянули за собой за ногу одного деревянного друга, выбрав немного ущербного, без пары поперечных дощечек, чтобы пополнить им композицию из спальных мест за домом у Киселёва.

Правозащитный клан, стоявший почётным станом на Киселёвке, имел привычку проводить свои партийные собрания в открытом море у ржавого буйка. Покачиваясь на волнах, конспираторы открыто обсуждали в присутствии этого единственного, надёжнейшего из свидетелей свои секретные коды. Если какая-нибудь кефаль, проплывающая мимо, и могла подслушать их разговоры, то уж выдать никак не могла.

Ночью берегом имели право ходить только пограничники с овчарками. Бывало, за полночь они поднимали с временных лежбищ лучом своих карманных фонарей и ослепляющим светом с катера, а также лаем не выспавшихся собак забывшихся на пляже голых влюблённых и гнали их, теряющих вьетнамки, к камышам, требуя непременно предъявить удостоверение личности, в противном случае... В исключительных ситуациях включали главный прожектор с заставы Кучук-Янышары, освещавший море широким бледным лучом, будто похитившим этот мертвенный свет у одиноко царившей в небе луны.

С утра все хотят идти с тобой на перевал, в Тихую бухту, в Старый Крым, к пивному тычку, все кликают тебя, и ты отвечаешь охотно соглашением, потому что знаешь, что все хотят преломить здесь с тобой пряник любви. И выбираешь самый короткий маршрут.

Как назвать и определить то, что чувствуешь, когда, взобравшись на Килловую горку, ты опять видишь перед собой этот никогда не переливающийся через край синий простор? И в конце концов, не вынеся восторженной немоты, ты сам переливаешься в чудные строфы Николоза Бараташвили:

Цвет небесный, синий цвет
Полюбил я с малых лет.
В детстве он мне означал
Синеvu иных начал.
И теперь, когда достиг
Я вершины дней своих,
В жертву остальным цветам
Голубого не отдам...

На Килловой горке

*Нет уж Киселёва—
Безногого Атланта,
Держальца андеграундного сквота:
Всех собирал—
Профессоров и хитпы,
Бродячих бардов, физиков, буддистов.
Напоминал он Ленина лба глыбой,
Прищуром хитрованным,
Бородёнкой
И властным окриком,
Народ свой направляя
Богемный...*

Марк Ляндю

Дом Киселёву, как пирамиду Хеопсу, десятилетиями возводили счастливые рабы. Многие, поднявшиеся на этот магический холм случайно, завербовывались на последующие двадцать пять лет добровольной царёвой службы. Денег не было. Стройматериалов не было. Но стройка, замерев на зимний сезон, неизменно возобновлялась с каждой новой юной тамарисковой весной. С теми, кто не мог отказать, московским поездом передавали по несколько досок. Мастеровой хозяин, ловко управляясь с любым материалом, обшивал досками кирпичи и отправлял их в Крым как тару. Отзывчивый приятель, в охотку затащив в вагон газовую плиту, связку ножек от стола, туго стянутых в пук, в придачу к которым шла половина столешницы, забив громоздкими кубами и параллелепипедами в газетной обёртке под потолок все боковые отсеки, повязанный сам священными узами дружбы, заносчиво сопровождал свой багаж, не оправдываясь лишний раз перед соседями по полкам.

Как с каменоломен восточного берега Нила баржами сплавляли в Гизы гранитные блоки для возведения пирамид, так из бухт за Хамелеоном тянули послушным морем на лодочках на Киселёвку горбыли и брёвна, сучья и щепки, камыш и кермек. Киселёвское гнездо собиралось по веточке, по хворостинке. На сухопутном направлении рыскали по посёлку добровольческие отряды талантливых в будущем снабженцев в поисках листа жести, мотка проволоки, оставленной случаем тары— ящичков, сбитых из деревянных реек. Притянутый роком к земной коре, Юра трудился на своём участке, подбирая что под носом: согнутый гвоздь, обрывок бечёвки, забытый кем-то поясok, — зная по опыту, что всё сгодится на стройплощадке.

Зачистив территорию в плане подбора всего годящегося в радиусе своей окружности, прихватив водки— иное не катит, кликнув товарища за компанию, Кисель запрыгивал в инвалидку, чтобы стартовать за стройматериалами. Охотясь на стройобъекты, нарезали спирали по посёлку и окрестным балкам, добираясь порой до подножья

Агармыша. Заприметив скопление людей над юной кладкой, подлезжали ближе. Нагорморт из калек под тубетейкой, с ленинским прищуром, по-родному взиравшего на запылённый пролетариат из инвалидки, а также бутылок с прозрачной жидкостью, газырями торчавших вдоль спинки дерматинового сиденья, действовал на работяг безотказно. Умилившись после очередного стакана, они широко, на всю железку благотворительствовали:

— Да грузи, брат, всю dranku!..

Так что если туда и порожняком, то на обратном пути с явно торчащей наружу добычей, осевшая машинка, прибуковывая, однако не без фасона, победно тянула свой груз домой, на киловою макушку. Услужливая «антилопа» годилась и на то, чтобы после сбора урожая завернуть на отдалённый виноградник, набрать в ящики сочного виноградного продукта. В подражание последнему киселёвская братия свисала с инвалидки гроздьями.

Когда не на море, мы также спускались вниз по вдохновению собирать быт для Киселя. Два огромных таза уже были доверху набиты алюминиевыми ложками и вилками, вынесенными из ближайшего кафе «Левада», или «Блевада», кому как больше нравится. Две юные, на первый взгляд, судя по воспитанию и сложению, балерины, выпускницы Вагановского училища, задыхаясь от счастья, тащили, согнувшись, в горочку два ящика с первосортными алыми помидорами, неосторожно оставленными грузчиками у магазина. Кто-то тянул за ушко трёхногий стул, кто-то сбегал к подножью горки, чтобы принять огромный тяжёлый бак, выпрошенный до завтра в той же «Леваде». Одним из оригинальных подношений на Киселёвку был вынос из кафе «Ветерок» одной из девушек на вытянутой руке цельного лотка с пирожными мимо раздаточной и абсолютно мимо кассы. Мечтая отличиться, мы петляли от одного двора к другому в поисках чего-то сверхнеобходимого. Это было не так легко, так как посёлок был достаточно беден. Бродили по Планерскому, высматривая то, что можно унести в руках. Наткнувшись порой на тяжёлую, но для хозяйства непременно нужную вещь, бежали домой сколачивать команду из мальчиков-несунов.

Наша горка натурально гляделась высокой муравьиной кучей, домом для маленьких строителей, по склону которого, по неким силовым осям, сновали вверх и вниз трудолюбивые муравьи. Движение не прекращалось ни днём, ни ночью. Легко сбегали вниз коричневые от солнца длинноногие «муравейные братья». Тяжело отдуваясь, с грузом на спине, медленно вползали на святилище они же, складывая к ногам верховного муравья свою добычу.

— Кисель, ты ноги-то уже отстегнул?

Заражая всех неуёмным оптимизмом, инвалиды охотно поощрял шуточки такого рода. Весело скалясь, разворачиваясь на тележке вокруг собственной оси, он менял направление в направлении банки с пивом, по пути формируя новые строительные отряды. Мы ходили, он ездил.

Из нужных неподъёмных вещей однажды мы углядели под чужим забором шкаф и стол, почти целый, на трёх ножках. В другой раз мы обнаружили что-то, что можно было доставить на Киселёвку только ночью; вероятно, это было явно чужое. Дотачать недостающую ножку для бригады наших столыров не составляло никакого труда. Мощный зов созидать шёл по такой нарастающей, что люди, ранее не обладавшие специальными знаниями, только по страстному желанию приносить пользу становились на Киселёвке профессиональными краснодеревщиками, ювелирами, каменщиками и плотниками.

Как-то один из забредших к нам паломников, с киргиз-кайсацкими чертами лица, оставшийся на горке навсегда (как обычно и бывало, Кисель принимал всех), взялся класть в центральном зале камин, имея до этого опыт наблюдения за кладкой печи. И сложил — с распахнутой пастью и большим задымлением. Перекалдывал. Не выдержав критики товарищей, впоследствии в пьяном угаре частично его разрушил. Ещё один одинокий рейнджер, свалившийся ночью на Киселёвку, с ходу определил себя в котлован. У него было редкое имя Мир. Весь отпуск он провёл в яме, не покидая её ни на секунду, делая исключение только для приветственного рукопожатия с новичком; тогда из пыльных недр наружу протягивалась его трудовая длань и голос, возвещавший миру: — Мир!

Специалистов не было, материалов не было. Но ничто не могло остановить рытьё котлована. Когда, за отсутствием досок, невозможно было восходить по лесам, подтягивая чердачный этаж к коньку крыши, всегда оставался вариант — уйти в землю. Тут нужны были только лопаты. И лопаты были. Поэтому все мы рыли котлован. Хозяин, он же главный архитектор Фив, обладал воображением царицы Савской. На своей земле, выданной ему, но неправильно оформленной или недооформленной, он хотел видеть сады Семирамиды, термы с виллы Адриана, водомёты Версаля. Даже косточки от алычи и кизила принципиально складывались им в банку, ибо им выпала честь начинать Киселёвский ботанический сад.

Серьёзные молодые люди в вылинявших коббойках, выпускники МАРХИ, присев перед ним на корточки, дабы быть с ним на одном профессиональном уровне, внимательно вслушивались в его проекты, задумчиво покусывая скромный бухгалтерский карандашик, время от времени перекалдывая его за ухо.

— Бассейн? Можно, конечно, Юра, всё можно...

Корректировки не допускались. В конце концов, его представленным дипломным проектом, который он с успехом защитил в стенах Строгановки, где Кисель обучался искусству промышленного дизайна, был вылепленный им из пластилина в натуральную величину автомобиль. А что, если это был «ЗИС» или «Хорьх»? Авторитет вождя такого ранга оставался непререкаемым. Третьего дня заниматься революцией рано, утром с похмелья — поздно, поэтому мы будем рыть землю сегодня. Ниже по склону рыли ямки под будущие деревья, пока что в них сбрасывали отбросы на полезный перегон. Несколько стойких растений с корой и листиками, привязавшихся душой и корнями к Киселёвке, выносящих верховой ветер, металась под навесом, создавая свой «Пейзаж в Овере». Елена Фадеевна, мама Юры, которая никогда не была у сына (в летний сезон ей почему-то всегда предлагали прокатиться в сторону Ялты, не заезжая в Планерское, для её же спокойствия), в Москве не забывала лишний раз напомнить сыну, что тому следует на своём участке непременно посадить грецкий орех — «Жёлуди Юпитера». Высокий ветвистый грецкий орех постоянно будет давать хорошую тень.

Рабочий день начинался достаточно рано. Вслед за горластым кочетом, настырно в течение ночи буравившим пространство своим очумелым кукареком и прохрипевшим наконец простуженными связками в предрассветную вуаль последнюю стражу, ферзём подскакивал с лежанки хозяин Киловой горки. Днём над посёлком продолжат концерт сизо-серые горлинки. Горлинки выпевают жалобно всегда одно слово, выпрашивая для кого-то чекушку, для меня же монотонно повторяя фамилию приятеля: «Ту-тушкин, Ту-тушкин...»

Заслышав поселковую зорю, киселёвская братия в стремлении зацепиться краем глаза за ускользающий сон, мечтавшая, как бы запустить в петуха сапогом или треухом, в своём подавляющем большинстве поворачивалась на другой бок, однако самые сильные и ценные рабы ответственно и охотно выходили на работы. Всегда находился тот из строителей, кто и не ложился. В спеленатое легато утра отрывистым стаккато начинали проникать новые звуки: постукивание, скрежет, матерок бригадира — это когда молотком по пальцу. Кисель неугомонен и неумолим. В его голове, закрытой от солнечного удара носовым платком, завязанным по четырём углам узелками, гнездится план: нарастить за дневные часы стены дворца на столько-то локтей и стадий. Белый долгий спящий египетский день, как плат и гимн, подарен строителям для возведения и созидания.

На узком лезвии заката, на грани между белизной дня и глухим обмороком ночи, возможности доставки полезных грузов возрастали. Спикировав

после захода солнца на деревянную стайку вампиров, киселёвские обломтники группировались вокруг телеграфного столба с намерением выдернуть его из каменистой почвы напрочь с корнем, покушаясь одновременно на фрагмент стрелчатой ограды безмятежного пансионата. Строящаяся студия для уникального жильца, оборудованная специальными поручнями, фрагментами шведской стенки и личной уборной с взметающимся над ней «Весёлым Роджером», как сверхидея или родное дитяtko, представлялась наиважнейшим из деяний нашего, если судить по приборам, оловянного века. По сути, коктебельский летописец, если бы таковой существовал, мог отметить в своей летописи, что Киселёвская большая пирамида с деревянным навесом и крышей, крытая листами рубероида, не раз похищаемыми свирепым норд-остом, строилась на протяжении двадцати пяти лет, начиная с 1956 года.

Восточное побережье Гостеприимного Понта традиционно привлекало археологов. К концу сезона, подустав от россыпей босфорских монет, законсервировав на зиму керченские раскопы, они спускались в посёлок со стороны Тихой бухты и к ужину неизменно оказывались на Киселёвке. Одним из таких забредших к нам археологов, также с непростым именем и фамилией, был Дега Деопик. Поднявшись на горку, он, как и абсолютное большинство, тотчас включился в строительство дома. Дега не оставлял затеи отыскать что-то истинно археологическое. На ловца и зверь бежит. Однажды, шатаясь в поисках всего древнего в окрестностях Щebetовки, он обнаружил фрагмент могильной плиты со старинного греческого кладбища с изображением разлапистого византийского креста. В другой раз, поднявшись на Тепсень, грамотно орудуя заступом, наткнулся на кувшин, внутри которого лежали обглоданные бараньи косточки — древняя игра в бабки.

Одним летом у мыса Мальчин поменялось течение, и море стало делиться с нами амфорами — не черепками, а цельными керамическими кувшинами, грузом тех каравелл, что испытали на себе здесь бурю задолго до рождения Айвазовского. Археологам привычно докапываться до очевидных ценностей. Как-то, работая на участке под руководством Деопика, мы дорылись до захоронения, в котором обнаружилось некоторое количество скелетов. Главный археолог тут же предложил безошибочный способ идентификации находок — отличия мужского скелета от женского. Предложенный метод прозвучал убедительно и лаконично. Скелет надо было лизнуть, и если он лип, то, следовательно, это была баба.

Забронзовевший от солнца, пропахший табачным крошечком, полынью и чертополохом, бюст с топчана, как с броневика, картавя и щурясь, ежеминутно призывал коммуны продолжить дело строительства Киселёвки. Вот он, переминаясь

с левой куклы на правую на топчане, чтобы не засклизиваясь китайским божком, зычно, по-боцмански, отдаёт приказы по стройке. Вот уже на тележке ожесточённо и фанатично кружит по строительной площадке своей собственной вагонеткой, то пропадая в прохладном мраке мастерской, то выкатываясь под навес наружу. Кого-то весело материт, что-то привычно мастерит — на этот раз пепельницу из поржавевшей консервной банки, откусывая плоскогубцами острые зубцы. В это время малышня, чьи-то дети, забираются на него, как на главный камень из фонтана. Осваивая его плечи, грудь и голову, они карабкаются по нему сколько хватит пространства; он же, ничуть не раздражаясь, вполне благодушно снимает их за лапку, за ножку и осторожно ставит на землю.

Не всегда солнце благостно заливало строительную площадку. Когда сизая, килового оттенка, туча медузой застревала на макушке Святой горы, не желая сползать, погода портилась, штормило, шли дожди. Все укрывались под навес. Не всегда Кисель вёл себя как радушный хозяин. В определённые моменты оставаться с ним один на один было даже страшновато, будто под наползающей на лунный диск тучей, корчась в конвульсиях, он превращался в оборотня. На него тяжёлой цементной плитой непреодолимо наваливалось желание обидеть, задразнить, добиться того, чтобы человек огрызнулся. Возможно, так он провоцировал на то, чтобы и другие почувствовали маленькую боль, чтобы не только ему одному. Кто знает?..

На работы выползали из бараков женских и мужских все, за исключением жестоко отравившихся накануне рыбными консервами. Не всегда на труд было соответствующее вдохновение. Поэтому в такие дни очень важно было проскочить мимо Киселя незаметно, чтобы он не видел. Особенно пристально он держал в луче своего внимания праздных девушек, определяя их на разнообразные работы. С утра половецкие девы, что накануне вели долгие хороводы с пением, обычно гремели тазиками на кухне.

Однажды я попалась ему на глаза.
— А, генеральская дочка. Не отлынивать. Вон в углу лопаты... копать под бассейн и будущие термы.
— Конечно, — ответствовала я. — Я уже здесь.

Подлетела охотно к краю ямы, живописно сбалансировав на краю, даже заглянула вниз: там ли ещё скелеты? Поморщилась. Не люблю кости. Никогда не покупаю себе костяных украшений. Взяла в руки лопату. Вспомнила, что должен быть «заступ», но, как ни вертела лопату в руках, этой детали не обнаружила. Не расстроилась. Начала копать, не обнаружив заступа. В первый раз подцепила на кончик совка немного пыли и метнула эту пыль в ту же яму. В другой раз лопата глубоко увязла в земле — так я её умело воткнула в кил, что не хотела на свет выбираться. Там я её и оставила,

к тому же меня окликнули на море. Кисель куда-то откатил на своей колеснице — на перекур или в персональную уборную с видом на море. Путь был открыт.

Иногда и в дневные часы, возможно, под воздействием чужеземных ветров, влекущих на горку с моря, от турецких берегов, раздражающую пыльцу с зацветающих иланг-илангов и пачулей, работы внезапно прекращались. Лопаты вмерзали в глину. Киселёвка уходила в загул. Котлованные чёрные рабы зубами крепче, чем у коров, отплёвываясь, срывали с бутылок скобяные наשלёпки, тащили из горлышек упругие упирающиеся цилиндрики пробок. Портвейн, шампанское, водка. Слава заезжим меценатам. Иногда, даже не на одни сутки, мы бывали богаты питьём, куревом, виноградом. Настоящим праздником становилось посещение Киселёвки братьями Борухами, выгрузившими из своей широкобёдрой машины канистры с коньячным спиртом, ящики с шампанским. Вакханки, спустив по спине волосы водопадом, неслись в бешеной полуденной пляске, обнажая плечи, живот и бёдра. Закинув кадыки к небу, поэты бляели своё вечно-тёмное, неразумное. Сам верховный Лукомон, целиком отдавшись вышедшей из берегов стихии, подпрыгивая в экстазе на тележке, отрываясь от неё на несколько вершков, отчаянно тряся головой Ильича из стороны в сторону, хрипел:

— Свобода, бля, свобода, бля, свобода!..

Опрокинувшись навзничь вместе с тележкой, выброшенный Вакхом в мертвецкий сон на пороге своей мастерской, Кисель смотрелся откровенно беззащитно. Его вставший на дыбы верный конь целиком скрывал от зрителей безногого богатыря. И только трогательно вращались затихающей темой четыре чумазых подшипника.

— Осторожно, не наступи, — передавалось тогда по цепочке от одного киселёвца к другому. — Юрка отдыхает.

Полдень. Белое солнце. Ультрафиолет. Все спрятались от зноя в дом, в тень, кроме загульного ветра, что крутит по площадке, пытаясь сорвать развешенное на верёвках бельё, гоняет пустые консервные банки, опрокидывает бутылки. Я полюбила ветер в Коктебеле. Маленький. Средний. Большой. Большой — порывами. Норд-вест, как злобный волчара, не раз срывал крышу с нашего навеса, один раз даже погнал крышу к соседу на его огород. Большой ветер, что раскачивает разом все купы акаций, как на сумасшедших качелях, стучится в окно, грохочет о шифер. Знойно, весело на душе. Как будто внутри тебя озорничает бриз, кипит море. Горячий ветер бьётся, как пламя, и хочет себя высказать. Каким языком? Может, это — коррида? Слава и гордость матадора, обводящего взором арену, знающего, что столькими любим? Белая пыльная арена у тебя под ногами.

Вот сейчас захочешь — сбежишь с горки и знаешь, что опередишь ветер. А сколько всего впереди. И, может быть, любовь уже выбрала тебя?..

Любовь посещала, кстати, охотно тех, кто рыл котлован, не отлынивая. Случалось, на одну стрелу Амура насаживалось двое оборотников. В часы, свободные от долгих маршей вдоль моря, вцепившись друг в друга пальцами, слипшись вязаными свитерами, они могли приносить пользу на стройке. Их, ослепших и оглохших от любви, определяли на самые тяжёлые и неудобные работы; впрочем, они первыми вызывались проложить очередной акведук, засыпать неудобную канаву.

Иногда, ближе к вечеру, когда, сморённые морем, вином и несмолкающим разговором, мы оставались на нашей горке следить за ветром и чтить тишину, до нас с холмов доносился довольно странноватый трескучий звук. Треск доносился отовсюду, поднимаясь и опускаясь, за исключением турецкой южной стороны, где — собственно море. Я удивилась этому звуку только однажды, осведомившись у друзей, что бы это могло значить. Мне ответствовали, что это Киселёв на своей инвалидке катает девушек, знакомя их с достопримечательностями Карадага.

Вначале у него был трёхколёсный вариант инвалидки, возможно, один из послевоенных трофеев, переделанная мотоциклетка с коляской, на которой полвека тому назад парочка фрицев в касках привычно прочёсывала старокрымские леса. В семидесятые годы эта привыкшая таракать без умолку, а то внезапно застывать, как упрямый ослик, цвета одновременно слоновой кости, песка и летней формы Лоурэнса Аравийского, не без вмятин, царапин и выпадающей внезапно — особенно ей это нравилось делать на поворотах — дверцы, инвалидка была четырёхколёсной. Авангардные, весело выпирающие фары спереди, баранка и два послушных арьергардных колеса. Съезжая в ней с довольно крутой Киловой горки на свидание под любимый куплет: «Ещё не вся черёмуха к тебе в окошко брошена», — Кисель в такие минуты выступал в заглавной партии хана Гирея из того же «Бахчисарайского фонтана». На самом деле по-татарски надо произносить «Герай» — во всяком случае, так мне объяснили в Бахчисарайском дворце, а Гирей — имя, данное хану московскими послами. Чепуха. Каким бы ни было произношение, Кисель был убедителен в этой роли. Его ваянный рукой мастера Возрождения торс вполне давал представление о невидимой, но существующей плоти кентавра. Он был в мужьях у интеллигентной девушки из редакции телевидения, крутил романы с византийскими принцессами, певуньями и плясуньями из фолк-ансамблей, милашками из подмосковных гарнизонов и прочая, и прочая.

Почётные гости спали в доме, ребятня — на чердаке. Кто-то ночевал под навесом, кто-то за домом на топчанах, а кто и повыше — на горочке, под звёздами, в спальном мешке, а то и просто на сырой, на самом деле тёплой, киммерийской земле. На той же горочке по ночам весело потрескивал разлетающимися красными искорками костерок. Раскинувшись на пепельно-киловом ковре, душевно пелось над маленьким жарким кратером про «тум-балалайку».

Наша колония, несомненно, привлекала внимание людей, привыкших гулять по окрестным холмам. Однажды некто, проходя верхом горы, указывая сверху своему спутнику на лагерь, отчётливо произнёс:

— Вот пример истинного стяжательства, — полагая, что барыга-хозяин напустил за деньги жильцов.

Киселёву нельзя было держать постояльцев, не полагалось. Юрку поминутно отвлекали органы: то собственноручно проследовать в отделение подписать протокол на голую, доставленную с пляжа девицу, проживающую на Киселёвке, объяснившую своё состояние тем, что, приняв на грудь, начала снимать с себя одежду и в итоге осталась в костюме нимфы; то тучей налетали «люди в пиджаках» проверить на счёт написок. Тогда хозяин шугал с полсотни своих оборотников за сизый кильовый гребень, и они рассыпались семечками из арбуза во все стороны, скатываясь когда по сухому, когда по влажному скользкому килу к воде, не показываясь дома до большой темноты.

При том, что многим казалось, что Киселёвка — это одна сплошная стихия гульбы, сам Юра никогда не был «шалая-валяя». У него была своя собственная внутренняя серьёзная мысль. Мысль о других — тех, кто был по жизни лишён, кто знал, что такое терпеть и уметь сдерживать себя. И Юрка замечательно умел делать те же вещи. Он умел терпеть и прекрасно различал грани добра и зла. Сознательно игнорируя тот факт, что, выпрямившись, он в рост с ножку стула, глядя поверх всех барьеров, он сражался за другую, более достойную жизнь для всех инвалидов-колясочников. Более того, за эту отпущенную ему на полвека колёсную жизнь он смог крикнуть со своего насеста на шарикоподшипниках что-то совсем неудобоваримое для советской губернии, вроде того, что: «Инвалид — это звучит гордо!»

Моими соседями по чердаку были брат и сестра Бриннеры. Родня голливудской звезды Юла Бриннера, с цыганскими корнями, неотразимого, пусть бы и без колышек, с глазами, чёрными до гари, первым в двадцатом веке введшим моду на голый череп. Бледные, носатые брат и сестра Бриннеры совсем не походили на своего знаменитого красавца-дядюшку, что, останавливая старинный романс, бархатным баритоном любовно-раскатисто прислонялся душой к первому

парижскому цыгану Алёше Димитриевичу: «Ой, Альоша, что ты, что ты (жирно и вкусно проговаривая согласные „ч“ и „т“)... Ой, гавар-ри, Альоша, разгавар-ривай...»

Просто дни, просто ночи

А киселёвскую кодлу помнишь?

их диссидентский форс?

Идёшь, бывало, цветущим пар-

ком, шурясь как после спячки,

что-то порхающее чирикает, пряное лезет в нос,

и вдруг—гроб с музыкой—Кисе-

лёв в своей инвалидной тачке,

битком набитой незнамо кем, по

набережной гремит

вниз от спасательной стан-

ции и без тормозов как будто

и без выхлопной трубы, это точ-

но—значит, сезон открыт,

и он улетает в весенний космос и гас-

нет, как гроздь салюта.

Олег Чухонцев

На берегу разбросанными ключьями чёсаной жёсткой шерсти, ошметьями разорённых галочьих гнёзд валялись чёрные колючие водоросли. Изменив своему растительному происхождению, предав морскую стихию, водоросли под солнцем приобретали фарфоровую жёсткость и хрупкость. Гонимые ветром по песку, они умудрялись проникнуть под эластик купальника и липли узорчатыми чернильными татуировками к горячему влажному телу. Порой эти непослушные керамические веточки вели себя как вредные проволочки; тогда, обнаружив, их следовало отлепить и решительно стряхнуть с себя вместе с песчинками.

Все мы копали берег, кто с большим, кто с меньшим энтузиазмом. До сих пор это действие сохранило своё старое название «каменная болезнь».

Копать берег означало водить правой рукой, тем, кто левша,—левой, по влажной гальке, как бы снимая слой за слоем, с тем чтобы выхватить цепким взглядом дымчатое ушко агата, молочный глазок халцедона, запёкшуюся буро-красную каплю сердолика или, напротив, его нежно-розовую эманацию, а то и серый невзрачный оладушек с дырочкой, зато приманивающий счастье,—куриный бог. Некоторым везло, и им попадались в дар от моря стоящие экземпляры ценных здесь камней, из тех, что незаметно снести знакомому ювелиру на огранку.

И ко мне однажды пришёл агат в виде кольца на день рождения из серединного августа. И я утопила его в чёрной коктейльной волне в пору ночных купаний прямо под Киловой горкой. Волшебный агат, цвета молочного тумана, размером с фалангу пальца, с одной из вершин Карадага, на который вскарабкался с молотком храбрец-ювелир

Валерка Иванов, встав пораньше до восхода, чтобы скотить с агатовой жилы мне на подарок. Кольцо не продержалось на пальце и двух недель. Надо было мне с такой частотой лезть в море, искушая. В конце концов свита Посейдона, позавидовав, слизнула с моего пальца овальный перстень с крупным агатом в затейной узорчатой оправе для себя.

В душные августовские ночи вино лилось из трёхлитровых банок с особой щедростью. «Восхитительный херес!»

Я всю ночь не могла уснуть

Это жуткое солнце: я сожгла себе плечи.

(И. Бродский)

На берегу, на топчанах и на песке, все хотели с тобой пить, и разговаривать, и просто молчать, и снова наполнять стакан, и отпивать из него, и молча улыбаться. И надо было снова и снова входить в море, чтобы освежиться. В накидываемой на тебя стремительно, фартуком ночи, темноте можно было уже сбросить купальник, оставив его на берегу, и идти туда, где твоё тело облекут в чёрный атлас. Пропуская сквозь пальцы море, ты обнаруживаешь, что рядом с тобой веселятся в тёплой полуночной воде какие-то светящиеся точки и запятые, обзываемые знатоками непозитивно морскими организмами. Но ты, перебирая эти мерцающие лунные ожерелья, наматывая по-своему на пальцы эти ликующие гирлянды, забавляешься и забываешь, что у тебя у самой на твоём безымянном, чуток великовато, кольцо—подарок от человека широкой души, ювелирного мастера-самоучки Валерки Иванова.

Как-то Валерка на пару с Деопиком, прихватив ласты, скатившись босиком с киселёвской горки, решили плыть в Сердоликовую бухту. На обратный заплыв у Валерки силёнко не хватило. Поднялись по тропе на Карадаг, но возвращаться в посёлок с порезанными ногами стало неважноту. У археолога ступни оказались покрепче, сам он шёл спокойно и предложил израненному другу спасительный вариант. На Тепсене курортники провожали взглядом парочку, идущую навстречу, почти плывущую по воздуху, из двоих щуплый паренёк, смущённо улыбаясь, как можно более естественно и невозмутимо ступал в ластах по траве.

В августе по ночам гремели грозы. Особенно часто Юпитер бросался белыми перунами в базальтовые гребни и скалы Карадага, наказывая каких-то своих непослушных сыновей. В большое ненастье маршрут «Киловая горка—бухты» становился опасен. Во время одного из походов, застигнутый грозой, один киселёвец должен был провести ночь на скале, прежде чем его сняли катером с Карадага.

— Ну а теперь—на море!

Я езживала в Юркином «шевроле», трогательном четырёхколёсном автомобильчике с очевидным рулём, к самой волне, сиживая с ним рядом, пряча колени от его дёргающейся палки, а также сверху на капоте и сзади на бампере. Кроме меня — ещё с полдюжины девчонок в развевающихся юбках. Если бы нам по дороге встретился Юл Бриннер, я думаю, он прикусил бы губу от зависти к киселёвской лысине. Но мы как-то попались на глаза Евгению Бачурину, о чём он не забыл: «... Днём, среди толпы, которая шла туда — купаться, или оттуда — пожрать, как муравьи, вдруг — звук клансона, ехал Киселёв на своем инвалидном драндулете, торжественно, как будто он ехал на золочёной колеснице, и у него на капоте и сзади сидели потрясающие девушки — в шляпах, некоторые с перьями, некоторые полуобнажённые, с сигаретами! Никто не видел, что он без ног! Он сидел спокойно и гордо, а вокруг — роскошные дивы, все одна к одной — красавицы! Это было впечатляющее совершенно зрелище, которое невозможно забыть».

Местный поселковый люд, на вид невинно-простодушный, внутренне озлобленный — не иначе фактом рождения на совдеповских просторах и необходимостью всю жизнь болтаться бортовой качкой между статьями гражданского процессуального кодекса, грозил узловатым крючковатым пальцем вслед клубящей пылью, белёсой в цветковыля инвалидке, уносящей на своих глянцевого боках накупанных наяд:

— Шпион, мать твою... притон!

Надо заметить, что никто из членов экипажа — ни вождь под кепкой, ни наяды, ни сама собственно таратайка, что, отфыркивая и чихая, продолжала карабкаться к себе домой на горку, — не обращал на них внимания.

Мы все уже по несколько раз сплавали и теперь загорали на песке. Вновь подходящий ставит ладонь козырьком и всматривается в горизонт: кто или что там покачивается на волнах? Киселёв или буюк? Кисель на одних руках мощным великолепным брассом уходил в море убедительнее любого графа Монте-Кристо, а торчал в море почти так же долго, как и в своей персональной уборной, — часами. Наконец он выбирался на берег и, опираясь на руки, раскачивая свой торс, как на качелях, доставлял себя к нашему завтраку на траве.

Теперь можно позволить себе одно из самых нежных общений. Ты лежишь на золотых песчинках, на клиньях своей юбки на спине, а он возвышается над тобой пасхальным куличом, своей собственной горкой, своей Киселёвкой. Это лучшая точка. Ты смотришь на него снизу, как и должно в общении с настоящим мачо; на нагретом песке, под прищуром всемогущего джинна, ты чувствуешь себя царевной Будур, что на ковре-самолёте уже

летит сквозь всё глубое в хрустальный дворец, к исправленной черте горизонта.

Ковёр-самолёт давно пылится свёрнутым половиком на чердаке. Живой, жёлтенький, как желток, песок, струящийся в воронку ладони секундами счастья, забросан серой мёртвой щебёнкой, которую было бы зазорно предложить даже Гитлеру для строительства его бункера. Пчела кормится на куске сахара. А каков современный рецепт изготовления коктейбельского коньяка, всем нам лучше не знать... «Какая чудная земля вокруг залива Коктебля...»

По сути, курортная жизнь неосвещаемого посёлка была скупа на события и развлечения. Кино в Доме писателей заряжалось на неделю, да и сам единственный кинотеатр из-за пропускной системы считался недоступным, его побелённую, высотой в два метра, стену приходилось брать штурмом. Однако следить за игрой Филиппа Нуаре и Анни Жирардо во французской комедии «Старая дева» про их заграничный отдых на таком же синем море, под тем же палящим солнцем, сидя на верхушке ограды, отклоняясь поминутно от разлапистых веток акаций, загораживающих белый простынный экран, было очень даже восхитительно.

К вечеру, ещё до наступления темноты, подтягивались на киселёвский холм прослышанные про столь интересное место и его хозяина разные люди: совсем известные, такие как Валентин Гафт, Булат Окуджава, известные среди своих — поэт Валерий Кривулин, барды Евгений Бачурин, Алексей Хвостенко, Эдуард Лимонов с Козликом, то есть супругой, и другие неизвестные, но не менее талантливые, коих было большинство. В звенящем неумолкаемыми цикадами черничном киселе ночи прибытие гостей оглашал невидимый церемониймейстер:

— Эдуард Лимонов с Козликом!

— Художник Шварц с куклой!

Присутствовавшие вытягивали шеи в сторону поднимающегося под навес, практически в портик, шевалье Лимонова, в белоснежно-джинсовом нараспашку, с непрямым цветком в петлице, под руку с туго затянутой в талии Барби Еленой Шаповой, или бородатого, ассирийского типа, художника с куклой — женой странноватого вида. На деревянные ящики тут же выставлялись гранёные стаканы, бильярдными шарами подкатывали яблочки. Благородные гости приносили благородное: массандровское в высоких бутылках, коньяк в коротких фляжках; иное, в трёхлитровых банках, подавалось с ленты конвейера бесперебойно.

Ах, так ли всё, когда ты коктейбелен,
Когда лазурь кругом, куда ни взгляд,
А в банках все сабли несут подряд,
И взором дев — ты весь околыбелен!

(М. Ляндю)

Когда надоело скакаться с Киловой горки всегда себе под нос, порой мы выстраивались гуськом, чтобы идти на весь день подалее в бухты за мыс Мальчин. Минувя последний официальный пляж правого берега пансионата «Прибой», мы шли по тропинке, проходя мимо всегда закрытой железной дверцы старого арсенала, напоминавшей очаг, нарисованный на холсте, так и манивший ткнуть в него пальцем. Но так как страна оглушительного счастья, которую ты топтал, уже находилась у тебя под ногами, то все шли вперёд, не любопытствуя на явление крашеной дверцы. Живописно на излучине тропинки белел пустой домик рыбака, рядом с которым валялись смотанные куски ржавой скрученной проволоки, обрывки верёвочных канатов, тёмный лицом якорь, следы кострищ с разбросанными вокруг колотыми острыми створками мидий. На той же тропе, практически на камнях, — изогнутые ветром стволы серебристого лоха.

Обозревая морской простор, замечаешь, как с лодки непременно кто-то нырял за морскими кладками.

Путь до Гравийной бухты — лёгок и недолог. Дойти до края мыса Мальчин, обогнуть его и идти вперёд, оставляя за собой несколько «Лягушек», выбирая между верхней тропой и нижней. По дороге до Гравийной первая — крохотная мелкая бухточка Людки-разбойницы. Здесь в нагретой волне всегда можно порезвиться. Под водой, в прозрачной глубине, колеблемые подводным ветерком, раскачиваются из стороны в сторону буро-зелёные волосы-водоросли. Вокруг плоской утопленной базальтовой плиты течением посильнее закручивается веером горжетка из чернобурки, в её мехе сверкнувшим серебряным наконечником стрелы навсегда пропадает метнувшийся испуганно косяк мерцающих рыбок. Несколько взмахов — и ты уже на выступающем камне, с которого так удобно наблюдать за бакланами, что изящными чернофигурными амфорами утвердились на невысоких скалах. О мокрые блестящие скалы бьётся тёмно-синее с белым море Моне. Надоест торчать на солнце — плыви в тень грота, куда нет входа солнечным зайчиком.

В весёлый бриз, в гостях у резвой «Людки», увёртываясь от быстрых коротких волн, что так и норовят перекачать через голову, ты напеваешь арии из любимых опер или грассируешь на французский манер, «сюрюкая» местные названия: «Барракол», «Легинерр». Освежившись, карабкаешься вверх, где рядом с тропой можно опуститься на сухую, примятую нимфами ли, кабанами ли жёсткую траву и разглядывать сад из валунов, пробитой строчкой спускающихся по склону, покрытых золотисто-ржавым лишайником — свидетельство высокой экологии.

Гравийных бухт — две. Лучшее купание — в первой, более открытой. Берег Гравийной набран из

отшлифованной, раскалённой в августе вулканической гальки в форме плосшек, каменных рукавиц, маленьких и больших дисков для метания, цвета графита.

«О, купание в Байях», — повторяешь ты, входя в эту тяжёлую, плотную воду, строчку из Светония, посвящённую Тиберию, который предпочитал купаться в маленьких бухточках на Сицилии. Видимо, погружать своё тело в волны в тех местах было для императора предпочтительнее всего.

Залив в Гравийной — не пресно знакомое тебе Чёрное море, где пока ещё плавает килька серебристой спинкой вверх. Это — священный водоём, в который в полночь погружается Геката, на рассвете омывает в нём свой меч небесный Архистратиг. Ты набираешь сколько возможно этой колдовской силы и уносишь её домой, где сразу засыпаешь.

На следующий день тянуло покорить Сюрю, отважиться на путешествие на Меганом, добраться на попутках до голицынских виноградников. Со стороны моря роль заботливого быка, перевозящего на своей спине по волнам любопытствующую Европу от одной бухты к другой, выполнял катер. Быка звали, допустим, «Витя Коробков». Быков, вернее, бычков, было несколько. Петляя каботажными кружевами, жестяные корытца с невысокими бортами курсировали от одного причала к другому за горстку мелочи. Задумаешь — до Биостанции на тяжёлые нагретые камни её почти всегда пустынного дикого пляжа, возжелаешь — на нежный мельчайший песок в Лисью бухту, поделишься — на весь день в Ялту, подошёл срок — в Феодосию на вокзал.

Лисья бухта, до того как её оккупировали падшие и голые, казалась идеальной площадкой для исполнения «Послеполуденного отдыха Фавна» на музыку Дебюсси, разве что не хватало растительности. Жертвенность, безысходность берегового пейзажа неизменно искупалась синим простором. Подняв глаза на вершину плато, где в песчаных расщелинах и норах обитали когда-то лисы, казалось, узришь одинокую лань, она же — Артемиды-охотница. Хотелось глазами богини сверху бесконечно долго смотреть на беспокойное синее, восходящее на горизонте к безмятежному голубому. Мысленно махнув рукой на то обстоятельство, что непременно обгоришь, пропускаешь очередной рейс и остаёшься на последующие четыре часа в Лисьей бухте.

Точно по расписанию «Витя Коробков» послушно возвращался в Лисью подобрать на свою спину загоревших и накупанных. На обратном пути ты снова проходишь мимо древнего потухшего брата с его Мёртвым городом на загравке, вечно спускающейся в прибой королевской четой, продуваемыми Золотыми Воротами, окаменевшими Львом и Слоном, застывшим огромным огненным пионом срезом кратера и скромным, не ревущим

входом в Аид. Если повезёт, к твоюему послеполюденному созерцанию, но без ликования с ветерком, добавят выскакивающих чёрными скибками из воды, веселящихся дельфинов, сохнувших бакланов на прибрежных скалах и суетливых, вечно голодных чаек над головой.

Иногда путешествуешь из Лисьей пешком до Приморского, а оттуда катерком до Планерского. Южнее за Лисьей бухтой—совсем нехоженые Козы, хранящие очевидные отпечатки доисторических эр. Под ногами—удивительные коллекции. Звёзды, моллюски, древние рыбы кто хребтом, кто щупальцем отметились на каменных папирусах загадочными рунами. Молодые люди, почитающие себя в душе ихтиологами и палеонтологами, страстно любящие всё доисторическое, невзирая на запредельный вес, складывают пудовые листы каменных книг в рюкзаки и, отирая пот, волокут их в посёлок, чтобы расшифровывать на веранде за вечерним чаем с неизменным кизилковым вареньем.

В посёлке все ходили гулять на эспланаду. На обратном пути все смотрели на звёзды. Иногда до самого подножья киселёвского холма тебя, как до замка папочки-лорда, церемонно, со всей учтивостью провожали физики, снимавшие комнаты по центральному соседним улицам: Десантников, Мичурина и Победы. Некоторые из них, что и неудивительно, знали наизусть всё звёздное небо. И неоднократно, указывая тебе рукой на созвездия, знакомо повторяя их очертания, мягко недоумевали, как ты не видишь в скоплениях этих блистающих у тебя над головой в темноте россыпей зёрен, шляпок гвоздей, тычинок ничего путного. — Вот,—указывали они на созвездие Льва, твоё родное, зодиакальное, в эти дни такое очевидное над линией горизонта.—Вон лапа, хвост... Как ты не видишь?

— Лапа? Хвост?—в свою очередь недоумевает ты.—И близко ничего похожего.

Впрочем, после нескольких повторных блужданий по небу под руководством знающих астрономическую дисциплину, за исключением известного тебе Ковша с никогда не определяемой Полярной звездой, ты запоминаешь аккуратную, только что срубленную «ёлочку» созвездия Орион и «дабл-ю» Кассиопеи.

О, это ночное небо над твоей головой со столькими звенящими созвездиями, с этим застывшим каплей на кончике указки и всё же идущим к тебе светом. Оно не казалось тогда, как сейчас, океаном сплошных одиночеств; все мы баюкались в Большом Ковше знакомой Медведицы, неосознанно испытывая общее счастье оттого, что собрались в одно время в одном месте.

Пристроившись на краю твоего топчана, вместо колыбельной собратья по коммуне уже начинают описывать тебе невзрачного, но смертельно

опасного паука каракурта, на пыльных ходульках, живущего по соседству у подножья Карадага, или маленькую чёрную вдову из того же семейства, с белым черепом на спинке, и учат отличать сколопендру от простой мухоловки на тех же мерзких мохнатых лапках.

И, несмотря на приведённые примеры и случаи, имевшие место на этих цветущих холмах, с пострадавшими от паукообразных—неким мальчишкой, шофёром и путешествующей женщиной на велосипеде, тебе—не страшно, а скорее страшно-весело, и ты не прочь повстречаться и с пропылённым каракуртом, и с вдовой прямо здесь, на топчане, чтобы взглянуть им в глаза; но ты хорошо знаешь, что никого из этих вредоносных не будет, а будут одни только комары, вот они уже звенят у тебя между носом и ухом, и никакие хлопанья и убивания не спасут тебя от жгучих расчёсываемых укусов.

А потом наступает ночь. И снова ты остаёшься с ней один на один. Об этом уже сказано лучшими нашими поэтами: «Тиха украинская ночь» и «В небесах торжественно и чудно». «Тиха украинская ночь» и «В небесах торжественно и чудно» развиваются одновременно, когда уже отговорили, делясь самыми неугомонными из оборотников, далеко за полночь. Но так значительно явление ночи и всё то, что свершается в небе, что ты за рекаешься не спать и сторожишь себя, чтобы как можно дольше не соскользнуть в ночь и не исчезнуть.

И вот ты вслушиваешься, и внюхиваешься, и пробуешь её на вкус. То ты вглядываешься в ещё видимые очертания холмов, то переводишь взгляд на ветки и следишь, как ветерок крутит и переворачивает «сребристых тополей листы» с тыльной светлой стороны налицевую тёмную. В конце концов ты начинаешь смотреть на звёзды и уже не в состоянии отвести от них глаз.

Как в небе всё стройно, высоко, благородно. В небе совсем нет того, что ты так не любишь, нет никакой пошлости. В глухие тёмные часы ещё можно затосковать, но перед рассветом уже проступает замысел главного Архитектора. Небо как будто готовится сделать глубокий вздох. Вдохнуть Бога. Этого мгновенья ждут—и месяц, плавленным слитком серебра, и светлая яркая звезда, никогда не оставляющая своего брата. Под звуки хора кто-то трудится на востоке, выдувая голубое стекло. И вот наконец всё заполняет собой свет. Теперь можно сдать вахту и уснуть на несколько часов. «Мир всем!» наступил.

От «Левады» до «Эллады»

Наш салатик овощной—

Вкусный и полезный!

Вы не кушали такой—

Кусочками нарезанный.

*Куйши овощи, дружок,
Будеши ты здоровым,
Ешь морковку и чеснок,
К жизни будь готовым!*
Частушка

Некоторые из новоприбывших девушек, чтобы доказать своё восхищение перед городом-коммуной, заслужить авторитет вождя, а то и подлинный интерес к своей персоне, вызывались перемыть недельный запас грязной посуды, громоздившейся в тазах и просто на земле, — пизанские наклонённые башни падающих общепитовских надтреснутых тарелок. По белому наливному блюдцу веточкой гербария сбегал нежно-охристый узор трещинок. Тут же, по соседству с ведрами, наполненными водой, покорно ожидая своей очереди, дремали скучные цинковые тазы, доверху набитые гнутым алюминием. Среди них выделялся большой китайский эмалированный таз с уродливым ржавым родимым пятном на месте отбитой эмали, с прильнувшей к нему, будто щекой, белоснежной хризантемой. На дне отлёживались ложки-инвалидки без черенка. Податливые алюминиевые приборы, гни сколько хочешь, легко перемалывались в мозольных ладонях бригадиров Киселёвки в самом уязвимом перешейке — шейном позвонке, за ними хромосомной цепью — спирально перекрученные вилки.

Вызвавшейся Золушке надлежало сперва подобранной щепкой соскрести с тарелок остатки пищи, затем с помощью ошмётка мочалки и обмылка хозяйственного мыла смыть тяжёлый жир, ополоснуть их в той же холодной воде, а затем уже, блестящими, передавать тем китайцам, что, насадив на кий, любят крутить плоскими фарфоровыми блинчиками над своими шапочками Лао-цзы. На вечерней заре, перемыв весь вычурный город Корбюзе, что возникнет через пару закатов на тех же покосившихся ящиках, прижав оловянную «плоскодонку» к груди, девушка замирала, упорхнув ласточкой в свои мысли, в которых она, теперь уже хозяйкой Киселёвки, подвинет с пьедестала наконец жён-декабристок, чью планку высокой жертвенности в СССР ещё никому не удавалось преодолеть.

Если подниматься от моря по улице Десантников вверх, то общепитовская столовая «Левада» (доверительным словарём Даля название переводится как «огороженный луг» или «пастбище») располагалась по левую сторону; если по узкому кривому переулку Серова сбежать вниз, то столовка оказывалась справа. Сбоку — фанерная пристройка вагончиком, в чьё окошко мерным стаканом разливался винный материал от пятидесяти грамм до бесконечности, была бы тара. Сама «Левада» — обычная «едальня» с тяжёлыми кашами, салатами из свежих капуст и тушёными

гарнирами с того же кочана, что не исклочало бы-стро остывающих подошвенно-резинových котлет и белых склизких макарон — стволос с главного артиллерийского орудия, оповещающего в городе Петра наступление полдня. Борщи и прочее перловое и гороховое разливались огромным черпаком. Треть черпака — полная тарелка. За раздаточной стойкой — плотненькие, в веснушках, в высоких поварских колпаках, отнюдь их не украшавших, ученицы кулинарного техникума из Запорожья. Ухватисто и расторопно осуществляли дивчины на «огороженном лугу» свою практику.

Час, в который лучи солнца сливались в сплошной перпендикулярный зенит у тебя над головой, справедливо считался временем обеда. В этот момент отдыхающие, бросив море в одиночестве, устремлялись разгорячённой толпой в посёлок в поисках еды. Большинство оседало на ступеньках перед «Левадой». Неизменно растущая очередь желающих перекусить вдоль длинного прилавка, нетерпеливо бьющая концом своего хвоста на улице, позволяла порой совершать нечестные поступки: передавать из середины очереди своим товарищам, обосновавшимся за столиками, тарелки с едой, продвигаясь безмятежно к кассирше и оплачивая единственно пару ломтиков хлеба и один компот.

Очередь в «Леваду» долгая, потому что общепита как такового в Планерском нет. Единственная официальная столовая посёлка — для писателей, но та еда на строго охраняемой территории, аккуратно разложенная запеканками и свежим творожком под непрременной тубетейкой сметанки, недоступна обычному смертному. Элитная еда для избранных, для тех, кто с паркеровским пером, кто после волн — в халат и тотчас за свой столик к салфетке с вензелем.

Томится в длинной очереди в «Леваду» в зной, под козырьками и косынками, демократическая молодёжь, только что создавшиеся, не распавшиеся пока молодые семьи с орущими голыми детьми. Не помню такого сезона, чтобы кто-нибудь из очереди не влюбился в веснушки и крахмальный колпак короной. Не сводя глаз с подруги и черпака, пристально следя за отпускаемыми ему в суповую тарелку положенными граммами, знающий всё о секретах Уложения в части всего прейскурантного и порционного, притирался хлопцем к своей Оксане. По осени, как водится, игрались свадьбы.

После оплаченного салата из сырой брюквы и переданной поверх голов верными товарищами тарелки с голубцами мы перемещались к винному окошку, честно заняв очередь на «розлив», но нас никто бы и не пропустил из жаждущих. Самый молодой отлучался, чтобы сгонять на горку, снести заначенную порцию еды Киселю. На текущем жарой асфальте, рядом с банками, склонив

буинные головоушки, уже дремлют успокоенные вином и зноем твои друзья. По чётным Зоя, по нечётным Клава разливали в оконце в стаканы и в банки, причём Клава не доливала, спиртное всех цветов и калибров — от сухого, по-местному «сухе», до полу- и истинно креплёных портвейнов, хересов, мадер. Крымские художники, наиболее отчаянные перфекционисты посёлка, держа в луче своего зрения одновременно вангоговскую зелень абсента и таитянскую Гогена, вкушали загадочный кальвадос. На профессиональный перечень должен быть зван, разумеется, Венича Ерофеев.

В конце улицы Победы, на пересечении с улицей Стамова, — кафе «Ветерок», невеликое пространство полусферой со столиками. Мне перестало нравиться в него забегать перекусить после того, как я обнаружила, что после посещения этого заведения я как будто поправляюсь. В сущности, это неудивительно, так как «Ветерок» имел молочную направленность. Его прилавок был предоставлен под молочные реки, кисельные берега. На пластмассовых подносах в стаканах белыми пешками — кефир, молоко, простокваша, рубиновый кисель. Этажом повыше — выпечка: булочки с маком, корицей, ватрушки с творогом. В глубине прилавка — сырники, блинчики, оладьи, порционная сметана на полстакана и — целый стакан. — Стакан кефира и ватрушку, пожалуйста... и, пожалуй, ещё блинчики.

После моря аппетит зверский. Но чтобы не видеть краешком глаза, как пухнут и выступают щёки, лучше взять в «Волне» или «Леваде» узкий ломтик чёрного хлеба с винегретом, а к нему — котлету с тушёной капустой, или порцию тефтелей с рисом и подливкой, или фаршированные голубцы, пусть и со сметаной, или тощую куриную ножку под бледным несолённым пюре. Есть-то хочется...

Ну вот, я совсем не помню некоторые названия из середины семидесятых. Рыбный ресторан «Осьминог» с закуской из мидий, шашлыками из осетрины, впоследствии с танцами по цементному бортику центрального фонтанчика, и кафе «Бубны» рядом с «будинком» Волошина появились значительно позже.

Для мужской части населения самым привлекательным долгое время, то есть пока он существовал, оставался пивной ларёк. Пивная точка в самом центре набережной с вынесенными высокими столами, на которых — пузатые толстостенные кружки, практически все с ощутимо обгрызенными краями. Когда в них под напором подавалось живое пиво, щедрая пена маскировала зализанные неровности — следы видимой пассионарности посетителей тычка. Вокруг ларька всегда бывало оживлённо. Прямо пропорционально процессу опустошения кружек воздух насыщался азартом общения и громкоговорения. Пивная пена

побуждала к болтовне: даже самые неразговорчивые после нескольких заходов разговоривались до такой степени, что и не заткнёшь. Сосед справа, как редчайшую драгоценность, предлагал тебе оценить на вкус крохотные полосочки волохатой пересоленной воблы. Чтобы друг замолчал, приходилось пинками отправлять его в море, где среди волн он бы заткнулся, наконец, но и там, пребывая непосредственно в стихии, заливаемый через голову белопенной волной, он умудрялся орать в твою сторону что-то исключительно важное, как сумасшедший.

Строители Киселёвки, крепкие парни с бicepsами, постоянно хотели есть. Однажды, в поисках по окрестным холмам, заметим, всего строительного, привезли на Киселёвку не кирпичи, а метнувшегося под колёса случайного барана, обгадившего, кстати, багажник. В итоге заимели только головную боль: надо было искать палача резать баранову шею, доставать спирт к ужину, подлизаться к стажёркам из «Левады», чтобы занять до утра огромный бак для готовки, отмывать багажник, пряча следы преступления, закапывать кости. И если в итоге стало сытно, то всё-таки грустно и совестно, и пришлось к ночи снова скатываться с Киловой горки во всепрощающее море смывать грехи.

За морскими продуктами ходили на пирс. За мидиями, обирая их по сваям причала, ныряли с пирса в море. Плов из мидий готовили дома, частенько на вытоптанной площадке на верху Киловой горки. Гурманы, растянувшись на земле, проникали в сокровенное оранжевое сердце моллюсков, раздирая корявыми пальцами неуступчивые острые створки, не страшась порезов. Наш «киловый завтрак на траве» — угольное пятно кострища и разбросанные вокруг, вытащенные на песок вверх дном закопчённые мидии-лодочки.

От просолённых морским ветром экипажей керченских шаланд можно было разжиться как скромной килькой, так и королевской камбалой. Как только на горизонте мелькал алый парус, посёлок оживал: срезая углы, устремлялись на берег расторопные хозяйки, озадаченно пересчитывая мелочь в карманах, семенили проулком дачники, перейдя на галоп, летели по улице Десантников парашютисты в постромках. Прихватив бутылки с водкой, не отставая, а даже обгоняя, под предводительством вождя тарактели к морю киселёвцы. Рыбари с борта шаланды уже черпали совком кильку, малосольная малютка послушно плюхала серебряным выплеском в целлофановый пакет, подставленную банку. Рыбку разносили на веранды под жбан пива. Моряки знали цену камбале и султанке — царской рыбке, но не было такого случая, чтобы при виде бутылки водки рыбацкое сердце не дрогнуло и, как следствие, на сиденье инвалидки не оказывалось протестующее

последним прощальным приветом плоское тело камбалы.

Центральным рестораном в Планерском, не считая одного с цыганкой на шоссе у автостанции, а значит, загульного, был ресторан «Эллада» с чайкой на лбу, то есть с изображением на фасаде чайки на трёх коротких волнах. Местные дизайнеры, вероятно, хотели отличить заведение определёнными мореходными признаками, и вполне возможно, что сверху своими очертаниями ресторан напоминал широкий бот или вместительную греческую трирему, но снизу это было никак не заметно.

Одним вечером мы, киселёвские тётки, так прозвала нас малышня, были в него, то есть в ресторан, приглашены студентами, почти физиками.

«Эллада» — двухэтажное серое здание с клумбой из роз и фуксий на линии фасада — утоплено вглубь, чтобы босоногие с набережной в трусах и раздельных купальниках не посягали на центральный. Но им бы это и в голову не пришло. Ресторан, с обычными столами, пластиковыми креслами, с подносимыми вышколенным персоналом, в рамках греческой архаики, чашами с водой для ополаскивания рук, предназначался для директоров крупных предприятий на заслуженном отдыхе. Шахтёры-везунчики, не оставшиеся в пластах породы, восседали за скатертью, насупленно рассматривая кусочки лимона, плавающие в невысоких керамических мисках.

— Это для того, чтобы мыть руки, руки мыть, — передавалось шёпотом женщинами от столика к столику.

Я опустила руки в чашу, пошевелила в ней пальцами, стряхнула капли лимонной воды, как росу, и как можно более по-гречески провела по ним салфеткой. На этом контакт с эллинской культурой закончился, не считая заказанных на наш стол пяти мелкокалиберных маслин, поданных в розетке из-под варенья, что составило одну порцию. В отличие от разумных греков, которые всё разбавляли, мы, вероятно, опять же не без генетической памяти неразумных скифов, принялись всё смешивать. Всё — это всё. В то время я ещё не знала, что для моего состояния смешивать ничего категорически нельзя. И, конечно, ничем хорошим это не кончилось. Более того, кончилось всё это похищением нас в милицию прямо с высоких ступеней «Эллады», почти Парфенона, нас, уносивших на губах цвета высаженных перед ресторацией фуксий, впервые познавших одновременно вкус коньяка и иного плодового — причем первоначально коньяка, ещё и вкус греческих маслин.

Нашу компанию внезапно, ахово (при выходе из ресторана создали шум, превышающий шум морского прибоя) побросали в сухопутный «тузик», или как там назывался их милицейский «газик».

Вначале мне многое показалось удивительно романтичным. Когда милиционер отодвинул заслонку «тузика» и я, приподняв платье над коленом (у них была высоковатая ступенька), поддерживаемая дружно сзади грузящимися следом, заглянула внутрь, как Ивашечка на лопате в печь: достаточно ли там уютно и тепло? — то обнаружила внутри ещё некоторое количество преступников, возможно, висельников. Путь к месту казни оказался весьма путанным, долгим и спиральным, всё с какими-то подпрыгиваниями на буграх и неожиданными резкими торможениями. А у меня внутри не только назревал, а уже вовсю развивался конфликт, порождённый генетической страстью неразумных скифов. Повороты не кончались. Я даже решила, что нас везут серпантином в Ялту, где во дворе домика Антона Павловича Чехова содержится гильотина, единственная в Крыму.

Приятель, сидевший рядом, считавшийся до этого другом, не преминул воспользоваться сложившимися обстоятельствами, организовывая на крутых витках тесные прощальные объятия. В конце мне стало совсем дурно, и я уже не чаяла казни. Наконец «газик», вкусно тормознув, дёрнулся напоследок и встал как вкопанный. Я выпала из печки, присела под кустик в чёрную ночь неизвестно где и стала глубоко дышать, кляня себя на чём свет и зарекаясь в жизни больше никогда ничего не смешивать. Потом я как-то подняла себя и, пошатываясь, хватаясь руками за дружественные низкие кусты туи, протянувшие ко мне свои узорчатые ручки, побрела в сторону Киселёвки, рухнула на свой топчан за домом и сладко проспала до позднего утра.

Старый Крым

*Куры, яблони, белые хаты —
Старый Крым на деревню похож.
Неужели он звался Солхатом
И ввергал неприятеля в дрожь?*

Ю. Друнина

Восточный Крым — пространство для кочевья. Волны кочуют, холмы кочуют, гуртом переходят на новые пастбища облака. Даже камыш кочует хотя бы одним своим чубом. Измученные ветром деревья — тем, внезапным, что так стремится сорвать их с места, — давно выстроились бы в шеренгу, хвост в голову, но их держат корни. В каком-то смысле я тоже дерево: измученный мыслями искривлённый ствол и ветки-веточки; корни — в земле. По материнской ветви — в крымской, чтобы быть совсем точной — в старокрымской. Иногда я чувствую этот горьковато-солённый полынный сок, что поднимается от корней по стволу к самому сердцу. Порой я чувствую родительскую любовь очень остро, и я люблю кочевать.

— Давайте сходим в Старый Крым.

— Кто знает дорогу в Старый Крым, только точно, а то в прошлый раз vyšли и не там свернули?

— Надо идти мимо виноградников, озера, а дальше есть развилка.

— Но только без дураков, а то вместо пяти часов в прошлый раз проплутали восемь.

Коктебельцев тянет в Эски Къырым— «Старый Ров», вроде так переводится название городка. Несмотря на утомительность перехода: если идти по старой дороге, то есть «земской», это двенадцать километров и стёртые ноги, если выбрана не та обувь,— прогулка в Старый Крым остаётся одним из самых привлекательных маршрутов. Во время одного из таких походов, углубившись в курчавый лес, на прогалинке я наблюдала сценку из жизни мною обожаемых зайцев: большой коричневый заяц не спеша, важно пропрыгал к группе из таких же степенных зайцев и, сложив лапы на груди, встал в стойку сулика. На выходе из старокрымского леса— переход через мостик, где неперенная встреча с козами, а там по главной, вездесущей улице Ленина, опоясывающей, как известно, весь земной шар, мимо облупленных «Почты» и «Хлеба», к зданию с колоннами— ресторану «Горный». Не чувствуя ног, очутившись в прохладном полумраке полупустого ресторана и, ополоснув руки, в блаженной истоме опуститься на стул, не торопя официантку, уносящую на кончике карандаша на кухню всегда один и тот же заказ: овощной салатик и порцию отбивных по-татарски.

Будучи в городке, как не подняться на крыльцо Литературного музея, не взглянуть в вытянутое лицо предпоследнего Председателя Земного Шара Григория Петникова, не добрести до домика Александра Грина, бросив взгляд на узкую кровать в его клетушке, подумав, что его пространство, в сущности, так же одиноко, как и у автора «В поисках утраченного времени»? После рынка заглянуть в хозтовары, да, пожалуй, ещё и на кладбище.

Кладбище Старого Крыма— похоже, маленький филиал Сент-Женевьев-де-Буа, где лежит крымская аристократия; свои Ромео и Джульетта, неразлучная как в жизни, так и в смерти пара влюблённых— Юлия Друнина и Александр Каплер; скорбный, вечно голодный проводник всего Несбывшегося Александр Грин; непризнанный Председатель Глобуса Велимир Хлебников и даже своя Маргарита, в чьих виллах текла кровь французских королей из рода Валуа. Что касается последней, то точное место захоронения миледи неизвестно, но всё одно в старокрымской земле. На дорожку есть ещё время обжечься турецким кофе в ближайшей кофейне и в глубоких сумерках катить на попутке домой.

Так, выстраиваясь в затылок друг другу, формируется отряд из пионеров, без жалоб, без тоски

по поводу толики пройденного и всего, что впереди, без вопросов: «Половину-то всего?»— мимо виноградников с собаками, вокруг озера, тягунами, тягунами. Пионерами. Пионерами...

Гипсовый пионер навсегда прописался в давно заброшенном парке Старого Крыма. Я наблюдаю его которую осень: отнюдь не принц, опирающийся на золотой эфес шпаги, ласточка не вьётся у него на уровне груди и не выклёвывает его сапфировые глаза, чтобы отнести их в фонд помощи брошенным детям. Похоже, это— Васёк Трубачёв. Любопытно, что автор одной из самых затрёпаных книг в детстве— уроженка Старого Крыма. А может, это длинноносый друг Буратино, принятый в пионерскую организацию. Его в очередной раз облапошили бомжеватые друзья, наобещав, что на этот раз уже непременно забьётся, затренькает урожаем монеток деревце мечты. Те, кому барабан тяжело и громко,— Мальвина и Пьеро— в эмиграции очередной волны. Артемон, прошедший обучение в рядах МЧС, изыскивает наркотики в аэропортах. И только гипсовому Бу с тумбы никак не донести горн счастья до своего носа. Он— навсегда в стране дураков. «Чао, бамбино, сорри...»

Вид местного летнего городского парка неизменно обескураживает: первые секунды после промчавшегося смерча или бомбёжки. Что за вражеские эскадрильи каждую ночь сбрасывают именно на это место весь оставшийся груз неизрасходованных снарядов? Кто летает и бомбит эти липы с такой ожесточённостью: валькирии, отряды хиппи «плохишей», стаи барражирующих, никогда не загорающих вампиров? Может, это не сверху— из недр? Неуспокоенный дух хана Золотой Орды Мамай, зарезанного в Кафе и подведённого здесь под курган, кружит в священной пляске дервишей над этой танцплощадкой? Одолжить у маленького Мука туфли с загнутыми вверх носами и волшебный посох, он носится над Старым Крымом, сокрушая всё, что ещё каким-то чудом уцелело.

«В прах! В прах!»— стучит он палкой, сокрушая крупные камни в более мелкие, битый кирпич— в пыль.— Мы прежде всего— караван! А уже потом— сарай». Потому-то если домики здесь и держатся, то это большей частью болгарские белянькие сарайчики, в панельную длину и ширину для двух-трёх карандашей.

Милый Старый Крым. Ты интересен мне. Твоя история, худеньким плечиком прильнув к степи, узким горлышком амфоры проклюнувшись на поверхность, скрывает истинные размеры твоей вселенной. Моя мама— родом из Старого Крыма. Помню её в детстве, невероятно красивую— с синими бездонными очами, алыми лепестковыми губами, в длинном жемчуге овалом; помню потом уже не с таким прекрасно-жертвенным лицом,

но всё равно очень-очень милую, всегда откликающуюся на радость. Вижу её всю после поездов на юБК, её загорелую обнажённую руку и то, как чудесно она пахла морским бризом, ялтинским променадом. Моя мама из Старого Крыма. И в один из дней моего пребывания на полуострове Къырым, сомнамбулически повязывая красный галстук, покорно топаю под гипсовую зорю к своему истоку—«Старому Рву», древнему городищу под ветвистыми лещинами, месту сколь славному, столь и странному. Подобных посещений набралось наверняка уже не с один десяток. Гордость Старому Крыму составили люди и их деяния. Скифы, половцы, греки, турки, болгары, армяне, татары, каждый в свой черёд, находили здесь, под склонами горы Агармыш, оправдание своего существования.

С середины восемнадцатого века славу городка стали мерить Екатерининскими милями. Солхатских верблюдов с колокольчиками потеснил Изюмовский гусарский полк, сопровождавший матушку-государыню в её путешествии по Крыму. Через каждые десять вёрст, гипсовым застывшим кринолином, стояла Катина тумба.

Самой большой странностью этого места мне представляются зависисе над ним пустота и непреходящее забвение. Как будто Катя, под трешотки и песенки своих гусар пропылив подолом платья по просёлочной улице, на прощание смела с этого места всю его славу и красоту. В последний раз, выравниваясь на север, полк отметился за околицей жирной лепёшкой—селом Изюмовка. Спустя двести лет Старый Крым— всё та же деревня, претендующая на звание города. В сущности, это одна длинная улица, вдоль которой лепились татарские кофейни, торговые лавки армян, пара цирюлен, а также городской сад, на котором лакомилась сорняками вперемежку с чертополохом местная скотина.

Я смотрю на высокий, с раскидистой кроной, грецкий орех из городского парка и думаю, что, может быть, истинными жителями этого городка, которые ведут необыкновенно интенсивную интеллектуальную и эмоциональную жизнь, являются орехи—эти спрятанные в каски маленькие маслянистые коричневые мозги, а совсем не люди. Эти спят. И я знаю, кто околдовал это место, кто погрузил его в сон, кто, как Карлику Носу, навесил горб и сообщил остальные уродства. Всё это—проделки клеймёной де Ламотихи, миледи из рода Валуа, полюбившей блеск бриллиантов больше всего остального на свете. Завладев одним из самых дорогих до сих пор драгоценных украшений в мире—бриллиантовым ожерельем стоимостью в годовой доход Франции, старуха скончалась в Старом Крыму в 1826 году, кинув ожерелье, по одной из легенд, в бездонный колодец горы Агармыш.

Сбежав из парижской тюрьмы Сальпетриер в Великую французскую революцию, Жанна де Ламотт реверансила между Францией, Англией и Россией в свите аристократической эмиграции, пока её, как балласт, не сбросили на дальнем берегу Тавриды. В маленьком домике на южной окраине деревни Старый Крым графиня де Гаше, она же Жанна Валуа де Ламотт, коротала время, нанизывая стеклярус, бусину за бусиной, мастера всё те же ожерелья. В отместку всем императорским и королевским домам старая колдунья околдовала этот цветущий уголок, оплела своими нитями. Она перенесла к подножью Агармыша на клеймёных плечах своё подношение—бледные знаки масонских братств. Откуда в складках этой земли столько любопытства в сторону невидимой жизни Духа, столько сараев для тягучих медитаций, колодцев для воронкообразных суфийских практик? Запершись со своей служанкой в низкой тёмной комнатке, сковав стеклянным сном реальность за окном, графиня забавляла себя тем, что лицезрела в гранях огромного алмаза будущие революции, расстрелы, гражданские и прочие вселенские войны.

Мама родилась в этом сонном царстве спустя два года после того, как из Старого Крыма ушёл Врангель. В свои десять лет, заводя козу Зорьку за изгородь, она могла попасться на глаза Осипу Мандельштаму, который в 1933 году гостил у жены Александра Грина, Нины Николаевны, учил под высоким стволом грецкого ореха—почему бы и нет?—итальянский язык и писал на «всём маленьком», окружённый всем спящим и убогим, «Слово о Данте», о тёмном «закопчённом» Данте, той же весной—стихотворение «Старый Крым»:

Холодная весна. Голодный Старый Крым,
Как был при Врангеле—такой же виноватый.
Овчарки на дворах, на рубищах заплаты,
Такой же серенький, кусающийся дым.

Всё так же хороша рассеянная даль,
Деревья, почками набухшие на малость,
Стоят как пришлые, и вызывает жалость
Вчерашней глупостью украшенный миндаль...

Мама заканчивала в Старом Крыму среднюю школу, когда в июне грянуло: «Вставай, страна огромная!» Этот день она очень хорошо запомнила. Первым делом она побежала сообщить эту интересную, будоражащую новость, только что услышанную по радио, к своей маме в ресторан «Горный», где та работала официанткой.

Вбежав, запыхавшись, в прохладный зал, довольная и счастливая, что первая, девочка радостно сообщила: «Мама, война!»

Я так и вижу эту картину, как бабушка—крахмальный венчик в волосах,—отложив в сторону коротенький карандашик и крохотный блокнотик

для записи заказов, закрыв лицо белым фартучком с оборкой, горько заплакала. Плакала она от предчувствия большой беды. Через два года с мужем они были расстреляны в оккупации.

Маму спасло то, что она не осталась в Старом Крыму. На самом деле её спасли танцплощадка старого провинциального парка и великий венский композитор Иоганн Штраус. Как раз накануне войны она посмотрела в городском саду американский фильм «Большой вальс» о любви примадонны и автора самых чудесных вальсов в мире. Фильм произвёл на неё невероятное по силе впечатление; много раз она рассказывала о том, как, представляя себя героиней, завернувшись в музыкальный плащ сладкого венца, в предчувствии всего самого лучшего, в мечтах летела в свою страну счастья и любви. Но так как со Штраусами в Старом Крыму, заштатном городке, пусть даже и с летней площадкой для танцев, было негусто, то ощущение полёта ей мог дать только лётчик. Встреча с моим отцом была неизбежна.

Мама не стала дожидаться прихода немцев в Старый Крым, а, записавшись вольнонаёмной в первую подвернувшуюся часть, ушла на фронт за своим Изюмовским полком в направлении норд-вест. Через три года, пропылив в кирзовых сапожках по кубанским степям, польским равнинам, германским лесам, она вошла в столицу Австрии город Вены и сфотографировалась на память рядом со своим старым другом — композителем Иоганном Штраусом. Той же весной в тех же кирзовых сапогах подходил к Вене солдатик Виктор Астафьев, в будущем известный писатель, сохранивший память о том же фильме и переживший на его довоенном просмотре в Игарке, ещё пацаном, как он писал, единственный раз в жизни ощущение счастья.

К концу войны у мамы была любовь и свой виртуоз-дирижёр, разбирающийся в самых сложных пассажах. Скрипку Амати ему заменял самолёт, звенящим смычком наворачивающий головокружительные виражи.

Американский фильм «Большой вальс» режиссёра Жюльена Дювивье, один из редких зарубежных фильмов, попавший на наши экраны, был выпущен в советском прокате в 1940 году. Исполнительница роли примадонны — колоратурное сопрано Милица Корьюс — никогда не была в Старом Крыму, хотя могла бы. Её отец — эстонец, оставшийся на русской службе, мать — из рода литовских дворян. Мила, так звали её в семье, заканчивала в Киеве гимназию. Артистическая карьера певицы была недолгой, в том же сороковом году в Мексике она попала в автокатастрофу и чуть не лишилась ноги. Она была очень удивлена, когда Майя Плисецкая, прима Большого театра, встретившись с ней во время зарубежных гастролей русского балета, поведала ей о том

эстетическом шоке, который произвёл на абсолютное большинство советских людей просмотром фильма «Большой вальс» накануне войны.

Моя мама так сильно любила меня, что первым делом предлагала мне пойти с ней в кино, когда видела, что я не в настроении. У неё была безоговорочная вера в спасительную роль искусства, прежде всего кинематографа.

Веранды

...Ах, виноград всегда и фрукты на столе.

И крымское,

Наверно — с Одиссея!

Мускат там, иль мадера,

Иль другое! —

Густого сердолика цвет в бокале

И запах, запах!..

Под абажуровой медузой,

Где цеплялись

Колючки синие,

Пучки кермека,

Чебрец пахучий —

От лугов нагорий.

И тёплый света конус

Сбирал всех нас

На милую террасу!

Марк Ляндю

Стоит, бытует в начале улицы Мичурина самый обычный дом с белым крашеным крыльцом. Три ступеньки вниз, по бокам облезлые перила, опирающиеся на приземистые могучие балясины, как сбитые икры баварских дровосеков. В стародавнюю сталинскую эпоху спускались, поднимались на это широкое крыльцо красивые люди. В танкетках-тапочках, белых носочках — звезда советского Голливуда Марина Ладынина. Всенародная свинарка. С пастухом ей не повезло. Мужем у неё значился известный кинорежиссёр Иван Пырьев. Режиссёр он был талантливый, но характер имел скверный. Крыл всех без разбору площадным, в том числе свинарку свою. В такие часы звезда советских мюзиклов, нарисовав в воздухе губками фразу: «Ка-а-акой грубый...» — накинув в плохую погоду дождевик, сходила с широкого крыльца прогуляться к морю или на Тепсене грибов поискать. Любила ходить за грибами. А так как муж её часто выходил из себя, то и жена его часто выходила на прогулки. И явлением своим мешала отдыхать другой королеве экрана голливудского разлива, Любочке Орловой. И в те часы, когда свинарка гуляла по набережной, Марион Диксон никогда не появлялась на берегу в своём атласном халатике, подпоясанным пояском. Принципиально.

В те же годы на эспланаде Планерского из очевидно красивых можно было повстречаться с Генрихом Густавовичем Нейгаузом, не изменявшим

бабочке к костюму, или обернуться на худую, рыжую, эксцентричную Александру Хохлову, актрису и жену кинорежиссёра Кулешова.

Красивых людей узнавали. Александр Блок любил вспоминать. Уворот своего высокого дома на улице Декабристов он дежурил в дни революции, таково было предписание всем жильцам, и как-то в одно из дежурств некий прохожий, проходя мимо, обронил в его адрес: «И каждый вечер в час назначенный... иль это только снится мне?..»

Анна Ахматова рассказывала Лидии Чуковской, как однажды в тридцатые годы в голодном Ленинграде — она называла этот период «вторым клиническим голодом» — в очереди её узнали: «...Когда стоишь во дворе, под мокрым снегом, в очереди за селёдками, и пахнет селёдками так пронзительно, что и туфли, и пальто будут пахнуть ещё десять дней, и вдруг сзади кто-то произносит: „Свежо и остро пахли морем на блюде устрицы во льду“...» (Л. Чуковская, «Записки об Анне Ахматовой»)

И всё-таки, господа, отметим уровень окружения.

Прохожий, облокотившись об ограду, и сегодня многозначительно спросит:

— Это чей же дом?

— Волошина...

И, окинув взглядом фасад, резюмирует:

— А что, непогана хата.

Или уже совсем весёлое:

— Как пройти к домику Ворошилова?..

Во дворе дома по улице Мичурина, сразу за воротами, стоял большой прямоугольный стол. Над ним — люстра: проволочный каркас, обвязанный лохматыми нитками в технике макраме — рукодельное творение пальчиков Наташи Арендт. В тени широкого абажура поселились розовые сегменты рапанов, перекрученные, выбеленные морской солью, «габриаки», одноглазые, просверленные морем, куриные боги. Стол в дневные часы охотно предоставлял себя ремесленникам править на его просторной столешнице ювелирные сети. К вечеру на ту же столешницу выставлялось некоторое количество трёхлитровых банок с вином — отмечать очередной день рождения.

В полуденный зной, когда под палящим солнцем невозможно было ступать по раскалённой гальке, я также подлетала к рабочему верстаку Камиллой Клодель, чтобы извять из пластика пару серёг в форме египетских ирисов. На другой день «ирисы» можно было продавать на набережной и даже за них торговаться.

По невежеству и отсутствию интереса ко всему, что не являлось нами, в своём стремлении никогда не покидать наш прокуренный топчан на Киселёвке, я и Ленюк, конечно, много потеряли, отказываясь от новых встреч и впечатлений. Дом Макса, как единственный действующий глаз циклопа,

ещё жил, ещё освещал небольшое пространство, воротничок набережной на колеблющейся груди глубоко вздыхавшего по ночам Эвксинского Понта.

Ещё не так далеко отлетел дух Макса, законодателя полынных холмов, не так далеко от верхней террасы дома, на которой по ночам все пялились на звёзды и загорали на солнце голяком.

Как сдёрнул Гумилёв носки
И бегал журавлём уныло,
Как женщин в хладные пески
Мы зарывали... Было мило...
(Ал. Толстой)

О Максе ещё говорили на веранде у Марии Степановны, ещё вспоминали о его силе, о любви к походам. Сам он отмечал, что вся его сила сосредоточена у него во лбу. Если он толкал кого-нибудь лбом в спину, то этот человек уже не мог устоять на ногах. Однажды, упёршись лбом в спинку кресла, он выкатил его без усилий с сидящим в нём Бальмонтом в другую комнату. Ходил он без дорог, всегда впереди, очень быстро, врезаясь в чащу, чтобы выйти кратчайшим путём. На самом деле плутал. А все кратчайшие пути оказывались самыми длинными. По воспоминаниям Елизаветы Кругликовой, с которой Макс свёл дружбу в Париже, он очень быстро изучил город и его окрестности. Придумывал интересные прогулки. Иногда прибежал ночью, одолев ограду, неистово стучал в дверь, будил и тащил всех на Монмартр встречать восход солнца.

Из обрывков разговоров, что дошли до меня, на той веранде не очень почитали Горького, это была личная неприязнь Марии Степановны. Вообще, со слов Ариадны Арендт обычной репликой Маруси было:

— Как вы мне все надоели!

И тут же следом:

— Я вас всех очень люблю.

— Идёмте к Марье Степановне, она нас приглашала чай пить, — звала нас в очередной раз Ленина мама, Татьяна Сергеевна.

— Да ну... нам и тут хорошо!

— Поднимемся на гору, к могиле Волошина, там будут стихи читать.

— Нам и тут прекрасно.

— Вы идёте на веранду к Изергиной на чтения?

— Ой, может, в другой раз. Нам так тут хорошо...

Ещё бы нет. Мыслями мы были во дворе театра имени Моссовета, в который раз восстанавливая в своём воображении фильм о появлении любимого актёра из дверей служебного выхода после спектакля. Во что он был одет, в каком направлении — к Маяковской или Театральной — он повернул свою голову и какое выражение было на его прекрасном, слегка осунувшемся лице.

Могла ли я представить тогда, в той голубой безмятежности, что очень скоро лишусь своей

подружки, вместо разговоров за киселёвским домом полетят письма в Париж, но и в них будет всё про то же: «Помнишь наш совместный выезд в Коктебель, мой первый, а твой тогда уже второй?.. Карантин. Как отмечали наши дни рождений, банановые юбки, Дега и его скелеты, Кисель, обрезающий заусеницы с консервных банок под пепельницы. Кисель, подтягивающий ремень на своих штанах, его озорная морда. Помнишь, помнишь?..»

Для клана коктебельцев фамилия Арендт — сакральная, звучит почти так же, как название источника или дерева «Arendt Kiprejskij», под чью крону подтягиваются остальные друиды на большие и малые сидения. Дом Арендтов в глубине сада напротив Киловой горки, к которому спускаются амфитеатровыми ступеньками, — святилище и музей. В саду — скульптуры Ариадны Арендт, или Бали, как звали её домашние, и её мужа Анатолия Григорьева.

Ариадна, даром что скульптор, — сама скульптура, выступающая из моря. Русалочка Коктебельской бухты, пошедшая на сговор с морской ведьмой. Оставляет на берегу тяжёлые протезные боты, чтобы почувствовать в воде лёгкий перламутровый плавник. Из семейной хроники: «Плавала с дельфинами, не испугалась. Дельфины сопровождали её до берега». Ариадну следует показывать с кораблика всем участникам увлекательной морской прогулки, проплывающим вдоль горного массива Карадаг. Она где-то между Иваном-Разбойником и Пуццолановой бухтой, где-то за Золотыми Воротами. Приглядитесь. Незыблема в любую зыбь.

Нашей Ариадне пришлось самой воспользоваться своей нитью, чтобы выбраться из лабиринтов кошмара. Только оговоримся: у крымской Ариадны вместо тонкой нити был канат, и напрочь ужаса. В двадцатые годы она, студентка ВХУТЕМАСА, попадает под трамвай — теми же стальными по живому. Очнувшись на больничной койке без ног, почувствовала возвышенное облегчение: «Ещё один кармический долг списан», — и даже: «Большому кораблю — большое плаванье».

С Юрой Киселёвым Ариадна познакомилась на заводе в Москве, где им обоим изготавливали протезы. Они подружились. Часто вместе уплывали в море за буйки.

Она, конечно, поражала. В разговоре пришедшему поговорить с ней художнику Стасу: — Сейчас мы с вами побеседуем, но вначале, — рассыпая крошки хлеба на подоконнике, — я покормлю мух.

Что оставалось Стасику, который накануне не один час махал мухобойкой на своей кухне? Только притихнуть.

Я помню её, когда она больше походила на антикварную вещь в лавке древностей, в ту пору, когда

её теософский ум стал угасать. Она могла просто так затянуть татарскую песню и тут же следом перейти на старинный французский романс от «Пиковой дамы». Баля смотрела своё чёрно-белое кино, обескураживая близких неожиданными репликами.

На развешенные тряпки умильно: — Какие прекрасные фрески, — и тут же грозно на крышку горшка: — А это что за портрет какого-то мещанина? Он совсем тут не годится.

Молодым симпатичным людям: — Мы с вами где-то определённо встречались. Признайтесь, вы были моим первым мужем... Нет? Ну тогда вторым...

— А я всё вижу.

— Что ты видишь, Баля?

— Да большей частью всё какую-то чепуху: мещан да крестьян.

Это всё были люди, лидирующим качеством которых было чувство собственного достоинства. Бабушка моей подруги, дворянка, когда им удавалось втиснуться в трамвай с задней площадки, всегда ей говорила:

— Проходим вперёд, дорогая, эти места — не для нас... — то есть не с теми, кто тискается в хвосте дребезжащего вагона.

Её сословная память диктовала ей партер, а не галёрку.

По неосвещённому посёлку, с фонариком в вытянутой руке, мы подходили к дому Марии Николаевны Изергиной, что находился сразу за шоссе, замирая и одновременно желая общения с ней на её веранде, остеклённой узкими оконцами и обильно увитой виноградом. Обычно мы тащились в арьергарде за нашим другом, писателем из Киева, волновавшимся не менее нашего, а то и более, так как ему предстояло читать свои рассказы за столом, в довольно обширном кругу постоянно живущих в доме, привыкших и привередливых как к чтением, так и к приведённым за чтецом почитателям. Заслышав у ворот громкий лай и громыхание цепью, прятались за спины впереди стоящих. Кусака Джим вполне мог ухватить своими острыми зубами за икроножную мышцу.

Хозяйка веранды не была вздорной старухой, но могла позволить себе неожиданную реплику во время чтения. Мария Николаевна вела веранду. В определённый час, кто бы ни читал или рассказывал, резко встав со стула, она отлучалась к телевизору для просмотра и прослушивания последних известий. Её культурный эгрегор объявлял её быть в курсе вечерних новостей. Телевизор заменял ей посла иностранных дел, что, сбросив шубу на руки слуге в ливрее в прихожей, приложившись к ручке хозяйки салона, оповещал собравшихся о последних изменениях в настроении императора.

Мария Николаевна была дамой настроений. Местные интеллектуалы прокладывали дорогу к её сердцу через Джима, её овчарку. Мужской дух она предпочитала женским голосам. Она была, конечно, из другого века, века Шадерло, в котором так ценилось искусство обхождения, беседы и прежде всего острый, весьма «эспри» ум. Для некоторых обитателей этой веранды Киселёвка с её буйством свободы, как аритмия, была «се троп», чем-то слишком, чем-то сверх отмеренной порции.

Под звуки голоса нашего друга, утомлённые дневным солнцем и дальними прогулками в бухты, мы не то что засыпали, но иногда пропадали во времени, переводя взгляд за стёкла веранды, за которыми колдовал сад.

С течением времени Мусе Изергиной непросто стало переносить зимы. Зимой её террасе доставалось от верных слуг снежной королевы — вьюг и стуж, когда не менее своенравная хозяйка холода расходилась вовсю. Ветер проникал сквозь щели узких оконце, и никому другому уже не дозволено было растянуться на стывших деревянных досках пола, кроме него самого и бессердечных, упрямых, не желавших таять снежинок. На веранде белыми овцами паслись сугробы снега. В одном из её писем есть замечательная фраза: «Боже, до чего воеет ветер. Что ему нужно? Я же не могу ему помочь». Из жильцов в доме оставались только самые преданные: собака Джим, кот Пищик. Из других зимних писем: «Джим и кот выходят кратко по нужде и тут же возвращаются. Кормлю геркулесом несчастных птиц».

Последний раз в посёлке я встретила её весной у почты. Она говорила, что её держит сад. Когда она спускается с крыльца в своё царство из стеблей и ветвей и начинает касаться этих веток, прутьев, травинки, что-то остригает, что-то перебирает, то после нескольких часов работы в саду, в знак одобрения, ей добавляют в блюдечко ещё ложечку жизни, как кизилового варенья.

У Оксаны Петровны веранды не было. У неё были сенцы и крохотная комнатка в четверть шкатулки. Когда набиралось народа через край, то есть более трёх человек, саживались на полу. Полоска ткани служила дверцей платяного шкафа, другая прикрывала чашечки на кухонной полке. Костяные индийские слоники оставались открытыми. Нет, кажется, слоники были у Нины Владимировны, как, впрочем, и рояль. Но всё равно по ночам, помахивая зоботками, они несли на своих спинках видимое счастье для всех обитательниц коктебельских дач. Как и у многих жителей Планерского, неосознанно питающихся творческими испарениями потухшего вулкана, у Оксаны Петровны был талант. Музыкальный. Она сочиняла мелодии и исполняла их под гитару, в основном на русскую поэзию, известную как «поэзия Серебряного века».

К творчеству приобщили каждый своим путём и каждый в свой срок. Нина Владимировна Коновалова начала рисовать в самые свои за семьдесят годков цветными карандашами на бумаге и фломастерами на обычных узких паркетных дощечках — нашла где-то стопку. Да такие всё тонкие, абстрактные вещи: ветерок такой и эдакий, Карадаг в своих утренних и вечерних состояниях. Закончила заочный народный университет культуры.

Художники даны в помощь друг другу. В последние годы Нина Владимировна дружила со Стасом Шляхтиным. Как-то она попросила его пройти с ней верхним маршрутом по Карадагу, подать руку в случае, если она выдохнется на подъёме к вершине. В дороге Нина Владимировна говорила, не уставая, о жизненных путях, творчестве, о своих встречах с Лениным, в итоге без сил опустился к подножью Стасик. Спустившись в посёлок, Нина Владимировна, ничуть не устав, ещё с полчаса говорила у калитки, не отпуская нашего друга.

В зной непременно под соломенной шляпкой с полями, в декольте, губки тронуты яркой помадой, пылая в сандалиях по посёлку коктебельские старухи, эдакие Лени Рифеншталь с плакатов Олимпийских игр 1936 года. С виду — высохшие седые куколочки, а разговорись — одна на Эверест поднималась на семидесятом году, высота, между прочим, 8484 метра, другая в Туруханской ссылке полжизни провела.

— Толстая приехала...

— Которая? Катерина, что ли?

— Ну да, один из её мужей ещё ленинские головы ваял.

Эти Толстые годами жили у Марии Степановны Волошиной. Этому семейству завсегда было позволено пить чай из чашек в горшочек на голубой веранде, крепить деревянными прищепками купальники по верёвкам сушиться на ветру. Это — свои.

Сумерки. Катя торчит напротив дома поэта на набережной главной фок-мачтой, со своим парусом — белым листом бумаги. Пишет чей-то портрет. Босая. В любую погоду ходила по посёлку босиком. Работала пастелью, как и её учитель, режиссёр Ленинградского театра комедии Николай Акимов. Не отрывая взгляда от модели, в твою сторону отвечает, рассказывает, смеётся. И пастельным карандашиком так уверенно, легко по парусу — чирк, чирк... Знает, куда плывёт.

В длинной цветастой юбке, в накинутаой легкой поплиновой кофте. Продувает кофту (ещё один парус) ветер. Высокая, статная, не толстая — плотная. Стоит крепко, богатырскими ступнями на два вершка уйдя в землю. Ноги — два обожжённых коктебельским солнцем пифоса, ни дать ни взять мухинская колхозница у входа на ВДНХ или

Марютка из «Сорок первого». Такую не уговоришь, эдакого комиссарского тела не ухватишь, такая сама — прикладом. Не колхозница, не комиссарша — графиня. Женихов ей не сватали, сама выбирала, правда, всё больше западала на тех, что её саму дурковали. С детства была с норовом.

В Ленинграде, в их родовом гнезде, на одной площадке мальчик её любил, сын художника Чарушина. В школе учились вместе в последних классах. Столкнулись на площадке, надо поздороваться. Он ей — руку, она ему в ответ — ногу в ладонь. Не от ухарства — от смущения.

Катя в деда — всем высоким: ростом, высокой посадкой гордой головы удлинённой формы — мирзачульской дыни, высоким смехом. В деда же любила собормотничать.

В кругу Марии Степановны знали сокровенное: нельзя безнаказанно в полночь в полнолуние войти в студию Макса и коснуться губ Таиах — отбросит, а то и поразит насмерть некая сила. Катя на спор вошла в кабинет в лунном луче, дотронулась рукой до Таиах. Дрогнули губы царицы. Та ей, как своей, улыбнулась... В Москве как-то полезла на памятник, к деду на колени, что в сквере на Большой Никитской, — приветствовать. Подошедший милиционер попался не из прозорливых, объяснений не принял, документ потребовал, в паспорте фамилию прочитал с ударением на «о», сопроводил, соответственно, куда надо.

Буратино от неё бегал. Нет-нет где-нибудь на наших необъятных просторах «Золотой ключик» да и издадут, не оповещая потомков графа. Катерина перед семьёй отвечала за авторские права. Суета. Морока. Суды. Суды всегда выигрывала, но деньги, гонорар не всегда получала.

Самое замечательное в лице Кати — это глаза. Глаза у неё — долгие, тёмные. Заповедные. Глаза амранских плакальщиц. Заводящие. Пара балетных туфель для партии Чёрного лебедя. Захочет — затанцует. В этих глазах талант её искрами костровыми вспыхивает. Так-то он, талант этот, голубой кровью по голубым протокам сплавляется, а то заляжет на дно, не хочет подниматься. В такие дни Катерина никуда не выходит, не выманишь её. Лежит. Лежит на старом узком диванчике, своём фамильном канапе, накрытая с головой клетчатым пледом. Со стен смотрят на неё её портреты с укоризной — актёры, философы, коктейльские старухи. Призывают: «Вставай, Катерина!» Не слышит... Катя себя не любила. Какую-то часть своей биографии с отвращением читала. Это было видно. Этого не надо было ей делать.

Много раз меняла адреса, но нигде надолго якорь не смогла бросить, сама бродила каравеллой из порта в порт. Искала. Его. Себя. Не находила, нигде покоя не ведала. Медеей детей от себя отрывала, язонам оставляла. На новое, неизвестное, на незнакомый звук была устремлена. Тянуло

её к сиренам, к Цирцею — забыться, очароваться, отравиться.

В Старом Крыму поселилась она на улице Суворова под покровительством гофмаршала. Поначалу ругалась с соседом-татаринном. Не смог, наверное, татарин перенести, что эта, из гарема, выше его калитки торчит. Злой татарин ей зачем-то в забор стучал и даже написал на том заборе: «Сожгу!» Но Суворов, пока она была жива, графиню в обиду не давал.

Три портрета старух — Фаины Раневской, Марии Степановны Волошиной и Анастасии Цветаевой — жемчужины коллекции Толстой. Только никакие это не старухи. Три пиковые дамы. Никаких троек, семёрок, одни тузы.

В бесцветных выцветших глазах Фаины Раневской — вся горечь полыни, разочарование, усталость.

Мария Степановна — на своей веранде, в полосатой кофте, за спиной море. Сама бакенщица. Рука — крабом, стрижена по-мужски, черты лица резкие. Ковылём никому не клонится. Надо будет — в другой раз египетскую царицу в Тепсень по горло закопает.

Анастасия Цветаева — выбеленная временем, потрескавшаяся фреска. Мудрой белой соевой уже поднялась над всем. Смирилась, успокоилась. Всю память с собой унесёт.

Разумеется, сегодня Юра Арндт — камертон этого места. Со временем он вобрал в себя все отличительные черты местного ландшафта. Сам в цвет полыни, он держит ту же ноту тишины, что и древний потухший вулкан Карадаг. С помощью верных велосипедных шин, подставляя себя под шум и свист вечно обновляющегося мира, он всегда будет там, где собралось нынешнее коктейльское братство. Как и Макс Волошин, он — великий оправдатель всех.

Каре

*Не спится мне, не спится,
Когда не слишком пьян,
Всё снится за граница,
Проклятый Иордан.*

*Снежок идёт последний,
А там, поди, жара.
Но если не поеду,
Повяжут мусора.*

Вадим Делоне

Но недаром голова у Киселёва была крепка и вместительна. И вместилась в неё однажды дума о сотоварищах по несчастью, обо всех инвалидах, о правах их, о том, чего им в этой стране не дано. И встал он, будучи без ног, за правду советских инвалидов.

Ранней весной 1956 года около тридцати инвалидовных мотоциклов с ручным управлением —

из одних торчали костыли, другие накрыты брезентом, — начав своё движение на улице Горького, замерли в каре перед огромным сумеречным зданием ЦК КПСС на Старой площади, повторив манёвр тридцати офицеров-декабристов, выстроившихся в тот же пресловутый квадрат на Сенатской площади перед памятником Петру I. Так был выражен протест против роспуска инвалидных артелей, позволявших инвалидам хоть как-то жить и зарабатывать.

Выскочивший из подъезда серого здания очередной Милорадович, не в лосинах, аксельбантах и орденских лентах, а в габардиновом плаще, уговорил пикетчиков, дабы не мешать уличному движению, перебраться во внутренний дворик. Вдохновителем и организатором московского восстания оказался двадцатитрёхлетний юноша без ног Юрий Киселёв. Смутил всё ЦК. Именно его — юного корнета — инвалиды Москвы, большинство из которых было фронтовиками, выбрали в пятёрку парламентёров для переговоров с вельможами. Начались посулы, подкупы, обещания золотых гор, кончилось обычным «ничем», но с той весны общественный темперамент нашего друга всегда был востребован.

И так само собой вышло, что очень скоро стал Киселёв главным калекой страны, и порой на правозащитных выступлениях члены Осоавиахима поднимали своего Ильича на плечи на деревянном поддоне, и какое-то время он плыл над столичной толпой парадной пространственной конструкцией от Родченко; впрочем, это скорее легенда.

В 1975 году Киселёв создаёт первый в стране Комитет прав инвалидов, ещё через три года вместе с товарищами, такими же инвалидами, Валерием Фефеловым и Файзуллой Хусаиновым организует Инициативную группу защиты прав инвалидов в СССР. За каждой фамилией — судьба. Судьбы...

Валерий Фефелов, 1949 года рождения, из старинного городка Юрьев-Польский, мечтал поступить в институт кинематографии, но надо было зарабатывать деньги, и он пошел в электромонтёры. А дальше — то ужасное, роковое, что не только отняло мечту, практически лишило нормальной жизни. Его, семнадцатилетнего паренька, пьяный бригадир загнал после дождя на не обесточенную опору ЛЭП. Удар тока в десять тысяч вольт. Падение с опоры, перелом позвоночника. Пьяные собригадники, не зафиксировав, не привязав к доске, как следовало по инструкции, поволокли его в коляске в больницу по бездорожью, а потом уговаривали малограмотную мать жалоб никуда не писать. Парализация. Жизнь в кресле-коляске.

Обретя друг в друге опору, Киселёв и Фефелов решили защищать права других инвалидов — не свои. Объединившись, могли уже многое, в самиздате стал выходить информационный бюллетень.

Несмотря на номенклатуре приходилось вспоминать о своих прямых обязанностях. Очень скоро членов Инициативной группы приравняли к инакомыслящим.

В первый раз после пикета у здания ЦК не посмели тронуть инвалида, но быстро пришли в себя органы НКВД, стали за Киселёвым следить, палки вставляли в колёса его инвалидки. Шины кололи, самого избивали. «Искусствоведы в штатском» били его в подъезде, били у крыльца резиденции Советского комитета защиты мира. Грузовики ночью долбили его инвалидный «Запорожец», заливали его изнутри кислотой, портили мотор, били стёкла и регулярно в День прав человека протыкали шины. Но верно и то, что уже с середины восьмидесятых годов на волнах радиостанций «Свобода» и «Голос Америки» передача начиналась речью заокеанского президента, а заканчивалась, как само собой разумеющееся, словом правозащитника Юрия Киселёва.

Многое он претерпел. Что ему? Трудно было его лишить чего-либо, так как он сам уже был лишён по самое некуда. Но недвижимость в Крыму у художника имелась, дом в процессе строительства. Тогда сошлись по-серьёзному под рубиновыми звёздами, обсудили — да и спустили в бездонный лубянковский колодец решение: разорить гнездо, в котором речи в защиту инвалидного сообщества сочиняются и откуда распространяются по земному шару. И лишили. Сожгли просторный дом с чердаком и каминным залом за короткую мартовскую ночь.

Вспыхнули брёвна и доски, кермек и камыш. Почернела, обуглилась Киселёвка. Скелеты археологические только спаслись, так как были заранее выкопаны и, может быть, сданы в музей древностей в Феодосию под инвентарными номерами.

— Что это за красавца с поникшей головой, видно, славно принявшего на грудь, поддерживают под руки две благородные дамы?

— Где?

— Да вот там, на обочине. Покусывая травинку, он ещё пытается читать стихи.

— Да это же Делоне, Вадик Делоне...

Над юным потомком коменданта Бастилии маркиза де Лоне, обезглавленного в Париже в первые дни революции, уже реял ореол мученика за правду. В 1968 году в свои восемнадцать лет Вадим встал в каре из восьмерых протестующих против введения войск в Чехословакию на Красной площади. За три минуты стояния на кремлёвской брусчатке корнет Делоне заплатил тремя годами пребывания в уголовном лагере в Тюменской области.

Делоне отличался южной, корсиканского типа, красотой, с копной блестящих волос цвета воронового крыла, с сияющим чёрным зрачком

по белому белку. Он писал стихи и одним из первых стал читать их у только что открытого памятника Маяковскому в Москве. У него была завышенная планка понятия о чести и справедливости. Острое переживание за чувство всеобщей несвободы повлекло его на баррикады. Кажется, казнь маркиза Бернара-Рене Жордана де Лоне не сумела вполне списать кармический долг с их рода, в судьбу вмешалась цикличность, и бунтовщику Вадиму Делоне пришлось надолго задержать в лёгких душливых запахах затхлых казематов.

«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Отбыв положенный ему срок, болтаясь маятником между Питером и Москвой, наезжая в Планерское, топча островок свободы, Вадик насыщался самым дешёвым и доступным: портвейном, пивом. Ему непременно надо было быть пьяным в дым, в лоскуты. После отсидки, в вынужденной эмиграции, этот потомок французской аристократии, седой и без зубов, ни бельмеса не говоря по-французски, тосковал на бульваре Сен-Мишель по двум местам: скамейкам в Абрамцево и нарам тюменского лагеря. По воспоминаниям Алика Гинзбурга, которому выпала картой та же дама—эмиграция, Делоне научил его единственным трём французским словам, которые тот озвучивал у барной стойки: «Grande biere formidable!»—«Замечательную большую кружку пива!»

Под угрозой ареста выбили щелчком во Франкфурт с российских просторов верного сотоварища Киселёва Валерия Фефелова. Сплавляли в вынужденную... не дав докурить нам на топчане с Леночкой, Татьяну Сергеевну Ходорович с тремя детьми.

Поэты—люди без кожи. Делоне был одним из самых незащищённых и страдательных, в смысле—страдал за других. За друга, поэта Лёню Губанова, столь же оголённого, нарывающегося, потому часто обретавшегося в психбольницах.

...Спрячу голову в два крыла,
Лебединую песнь докашляю.
Ты, поэзия, довела,
Донесла на руках до Кашценко.
(Л. Губанов)

«Жёлтое безмолвие» ещё ждёт своего летописца. С семидесятых годов принудительное содержание в психдиспансерах являлось одним из многочисленных воспитательных приёмов для инакомыслящих, можно сказать—для всего неудобного творческого лохматого племени. Доставка в психлечебницу могла сопровождаться проставленной в путёвке в качестве причины записью: «Сочинение антисоветских песен». Принудительное лечение для Натальи Горбаневской, стоявшей в пикете с Делоне на Красной площади, и её диагнозы

«вялотекущая шизофрения»—при отсутствии записи о каких бы то ни было психопатологических расстройствах.

Михаил Шемякин—чем не герой знаменитого шедевра «Пролетая над гнездом кукушки»? Шесть месяцев в Ленинградской областной психбольнице на инсулиновой шокогерапии проводит поэт-авангардист Алексей Хвостенко, та же «оздоровительная» инсулиновая программа—для абсолютно здорового парня, богатыря, гениального художника Игоря Ворошилова.

Из воспоминаний друга Геннадия Айги:

«По трагической случайности Игорь Ворошилов попал на десять месяцев в Бутырскую тюрьму из-за того, что оказал сопротивление сотруднику милиции, привязавшемуся к нему в очередной раз. Из Бутырки, где он проповедовал братство людей и религиозные идеи, Ворошилов попадает в тюремную психушку на принудительное лечение, где получает двадцать пять инсулиновых шоксов, пятьдесят психотропных таблеток в день и выходит с диагнозом „шизофрения“ и инвалидностью II группы.

Грустно и одновременно весело Игорь вспоминал такой случай. Выпивая как-то на заброшенном стадионе в компании с приятелями—художником Рафом и писателем Веней Ерофеевым, они привлекли внимание малорослого, „метр с фуражкой“, милиционера. На окрик мента: „Встать!“—троица стала подниматься: Рафаэль—метр восемьдесят сантиметров, Ворошилов—метр девяносто пять, Ерофеев—ростом выше Игоря. Испуганный милиционер, хватаясь за кобуру, закричал: „Документы!“ Все трое вынимают и предъявляют инвалидные удостоверения: Рафаэль—инвалид I группы, Ворошилов—II группы, Ерофеев—III группы по психическому заболеванию».

За год до своей смерти и смерти Делоне в апреле 1982 года Лёня Губанов пишет стихотворение, посвящённое другу:

Поезд ушёл на Париж.
Стылый, как сломанный грош,
Тысячу веток спалишь,
Но не унимется дрожь.

Но не унимется блажь
Княжеских бархатных лож.
Мягкий возьму карандаш,
Жёлтый, как русская рожь.

И нарисую им лишь
Солнце, и яхту, и пляж.
Поезд ушёл на Париж,
Словно на сердце—палаш.

А на твоей голове
Беленький волос блеснул.
Завтрак прошёл на траве,
Там, где ты пьяный уснул.

Вадик! Какие дела?!
Нищие мы— тут и там.
Вот и сирень отцвела,
Как сирота, по углам.

Молодость наша прошла,
Как половецкий табун,
И поцелуем прожгла
Всех, кто в тюрьме и в гробу.

Сердце! Ты с нами шалишь.
Если увидимся вновь,
Поезд уйдёт на Париж
С надписью: «Юность, любовь».

Делоне умер в тридцать шесть лет, полностью истощив резерв своего мотора, своей сердечной мышцей, прикорнув на диванчике послушать пластинку своего друга Хвоста «Есть город золотой». На его могиле под фамилией «Delaunay» ещё два слова: «Poet russe».

Наш весёлый меценат Борух (художник Борис Штейнберг) имел за плечами не менее поучительную историю. Лишившись в одночасье знатной коллекции русского авангарда— ограбление, прошёл суд, психушки. Он очень достойно проводил свои дни в Тарусе: на рассвете вставал, на закате отправлялся спать (это он-то, шлявшийся ночами у моря),— справедливо полагая, что всё отпущенное ему время должно быть посвящено только работе.

Юре Киселёву в многочисленных драках, точнее— избиваниях, выбили зубы, но в психоневрологический не уехали. Он был уже слишком известен. Так известен, что французские товарищи сняли с ним документальный фильм «Где ты, товарищ?..». Он же гордился дружбой с Андреем Сахаровым.

Инвалиды писали Киселёву письма с просьбой о помощи, и он брал под опеку всех без исключения.

«Юра, дорогой, привет!
Вечером я слушал передачу „Документы и люди“. Там говорилось о хороших людях, в том числе о тебе. Ну как твои дела, жизнь, здоровье? Как здоровье у матери? Дела мои, Юра,— плохие. Появились на боках пролежни. Перевязочных материалов нет: ни бинтов, ни пластыря, ни мазей. А на неделе участковый врач вовсе сдурил: „Больше посещать тебя не буду, и всех врачей против тебя настрою, и никто лечить тебя не будет“. Это, Юра, случайный человек в медицине, барыга. Я уже устал его угощать водкой, где хочешь достань, но уступи его.

И вот ради того, чтобы он лечил меня, приходится иногда с ним выпивать и угощать этого типа. А напьётся, капризный становится, как баба, ещё хлеще. Кричит, начинает оскорблять, унижать, и не дай Бог против чего скажи, сразу угрожает: „Больше посещать тебя не буду“. Вот и на этот раз пришёл ко мне, напился вдрызг и начал нести всякую ерунду: „Мусульмане— это не люди,

это жестокий народ, давно надо их уничтожить“. Я не выдержал, Юра, такой наглости и сказал: „Петрович, замолчи, среди русских тоже дураков навалом“. Он вскочил с места и начал кричать: „Больше меня не жди, я не приду“— и в дверях стал злорадствовать: „Сгниёшь, больше врачи ходить к тебе не будут“.

Вот с 10 ноября сижу без перевязки, нет ни бинтов, ни мазей. Дозвониться до главного врача не могу, опять телефон не работает. Можно только догадываться, почему молчит постоянно телефон и почему этот горе-врач угрожает мне. Это, Юра,— безграмотный, жестокий, мстительный человечество. Пользуется беспомощностью инвалидов и больных на своём участке.

Я обращаюсь в Комитет по защите прав инвалидов в СССР поднять свой голос в мою защиту. Привет всем товарищам.

16. XI. 86 г. Исмаил».

Писали товарищу Киселёву, писал товарищ Киселёв. В борьбе с несправедливостью обращался к письменному слову, писал мелким, убористым почерком вождей. Не могущий ходить из угла в угол, подбирая нужные слова, пускался в путь мыслью и оскорблённым чувством:

«Товарищу Генеральному прокурору СССР. Открытое письмо.

В течение полугода я направлял вам три раза по три запроса. В одном из них я запрашивал содержание законодательного акта, по которому госорганы в июле 1981 года, объявленного ООН Международным годом инвалидов, отобрали у меня земельный участок в Крыму, посёлок Планерское, и заодно снесли сохранившиеся после пожара стены моего дома, веранду с чердаком, бетонный гараж и украли имущество, находившееся под замками в гараже и на чердаке веранды. До сих пор меня не ознакомили с мотивировкой этого безобразия.

Это, я уверен, был единственный в мире дом— художественная мастерская, спроектированный и построенный инвалидом I группы без обеих ног. На виду у всего посёлка я вместе с друзьями рыл траншею под фундамент, клал стены, варил веранду, делал крышу— всё это без ног. Сюда съезжались со всего Союза, в том числе и инвалиды, жили коммунальщиками, читали стихи, играли актёры, музыканты. Чекисты руководили даже сносом холма, на котором остались несгоревшие стены, а заодно „изъяли“ лодку, моторы и запчасти.

...Только через полгода от Судакской прокуратуры получил отписку без ссылки на закон и решение исполкома, где утверждался факт отсутствия нарушения соцзаконности при лишении меня права землепользования. На днях ко мне пришёл сотрудник Московской прокуратуры и предъявил

не вопросы, а скорее требования: например, перечислить всех моих знакомых — наркоманов или членов религиозных сект, в общем, перечислить всех тех, кто, по мнению этой прокуратуры, и сожгли мой дом. Я ответил, что основой религии является нравственность, а сожгли и снесли мой дом чекисты, мстя за мою правозащитную деятельность. Далее уже, как преступник, я получил повестку, почему-то с пометкой „Вторично“, явиться в определённый день к заместителю товарища прокурора...»

Подпись: «Юрий Киселёв».

Вот так, от товарища к товарищу, письма. Запечатать в бутылку крик души и под крик чаек бросить в Чёрное море, лучше в океан, чтобы для всех товарищей да по всем концам земли: может, кто и прочтёт, а ещё через век ответит. Так и не вышел на наши экраны документальный фильм, снятый французскими документалистами, «Где ты, товарищ?..».

Его соратники вспоминали, что за год до смерти Юра Киселёв находился на Пушкинской площади среди поредевших участников пикета в защиту Виктора Орехова, капитана КГБ, предупреждавшего по телефону о предстоящих обысках и арестах. Другие времена. И как уже повторялось в истории: не явился на площадь диктатор Трубецкой, отказался возглавить свой полк капитан Якубович. Юра был одним из немногих, кто вышел. Он был верным.

А пока короткими сумерками, после трудового дня, собирались мы нашей дружной коммуной в мастерской — каминном зале слушать поднявшихся на холм поэтов, бардов, труверов и другой пришлый артистический и бродячий люд. Кисель принимал всех. Все, кто имел руки, мог участвовать в стройке; кто рук не имел, имел голову для проектов или язык для завирания. Всё человеческое годилось на Киселёвке. С каждым он говорил на его языке. Иногда он казался дерзким, провоцировал. Чтобы не разводить всякое повидло, нарывался, хамил, что называется, лез на рожон. Он хотел казаться грубым, но внутри не был грубым. Он был готов к выпадку, что вместо обороны. Его: «Щас в рожу получишь!» — адресованное тому, кто мешал ему слушать что-то исключительно интересное, можно было трактовать как: «Господа, мы имеем честь атаковать вас первыми». Его отец, бывший офицер Белой армии, и его мать, оба педагоги, воспитывали его как эсера, в крайнем случае — народовольца. Но порой реакция на дерзость бывала неожиданной и неоднозначной. Как-то на центральной московской улице его остановил милиционер, потребовал документы. На законный вопрос постового: «Где в правах такая-то отметка, такая-то печать?» — Юра тут же разлетелся в карьер:

— А это ваши грёбаные коммунисты во главе с Горбачёвым или кто тогда был...

Дядя Стёпа — под козырёк:
— Проезжайте...

В восьмидесятые годы, когда за ним установилась жёсткая слежка (голубоглазые «Васи» с Лубянки, мечтавшие о командировке в Планерское, так и торчали соцветьями из-за изгородей), встал вопрос, принимать или не принимать незнакомцев. Желаящих остаться на Киселёвке всё прибавлялось. И когда новичок объявлялся на горке, для Юры архиважным было выяснить, свой ли пришелец или засланная гнида, которую гнать в три шеи. На это у него был определённый тест:

— Я ему сейчас особые вопросы задам, он и засветится.

— Ну что, Юрок, наш человек или как? — подступали мы к нему через какое-то время.

Обычно всё кончалось тем, что пока непонятно, свой или нет, и, почёсывая в затылке, Кисель утвердительно кивал своей ленинской башкой:

— Ладно, пусть живёт, там будет видно...

Войди в мой дом

*Душа неделима и, льдинкою вниз
Упав, о карниз разлетится со звоном,
А я этой смерти пустым эпигоном
Всё буду цепляться за слово «держись»...*

Вадим Делоне

В Москве, в феврале, в синих метелях, ты внезапно останавливаешься, замирая в охотничьей стойке, улавливая во влажном ветре что-то от моря, и, благодарно восприняв этот привет, начинаешь собираться в Планерское — пока ещё мысленно. Но уже в ближайшую субботу, переступив через высокий сугроб где-то на окраине города, ты проталкиваешь себя в обитую жестью неказистую дверцу крохотного магазинчика-склада с вывеской «Лоскуты», чтобы пропасть в его полуподвальном помещении. С узкого прилавка ты набираешь из остатков разноцветных заплат на длинную, как у знатной критянки, юбку с воланами, представляя, как будешь весело мести этим подолом лёгкую белую пыль по дороге в Тихую бухту.

В августе у тебя совсем нет денег на билет, но зато у тебя есть твой старый друг, твой верный чердачок под чёлкой, пока ещё с чётко очерченными извилинами, с быстро бегающими составами вопросов и ответов, которые ты гоняешь туда и обратно в поисках нужного решения, и скоро соображаешь, что гранёный стакан твоей крови редкой группы — как раз в цену плацкартного билета на поезд Москва — Феодосия с Курского вокзала.

Через двадцать пять с лишком часов заточения в кухне поезда, не оглядываясь на старого кита,

продолжающего благодушно выпустить из своего чрева наружу многочисленных Иовов с нижних, верхних и боковых плацкартных полок, выбираешься на перрон. Опустив сумку на землю, глубоко вдыхаешь запах всей туево-можжевеловой растительности разом и, осознав только здесь и сейчас, зачем тебе служат лёгкие, искушаемая заманчивой свободой графа Эссекса, присоединяешься к кучке рабочих порта на привокзальной площади, предпочитающих портвейн. Оглядев прилавок, ты делаешь свой выбор и, никого не торопя, в порядке общей очереди, разнеженно следишь глазами, как и для тебя громокипяще бьётся о стекло рубиновая струя игристого «Цимлянского». Затем, благодарно вернув общепитовский гранёный стакан лаконичного дизайна феодосийки Веры Мухиной на прилавок, отерев пенные усы, блаженно улыбаешься трём городским памятникам одновременно: Ленину, Вите Коробкову и бакенбардному Айвазовскому,— улыбкой, выложенной мелкой галькой в парке литературного творчества. Не пряча улыбки, ибо мы—уже в краю со всеми его «голубыми»: Сюрю, Святой и той, что спускается в море пока ещё профилем Волошина,— перекинув сумку за плечо, устремляешься на рынок, где располагался тогда весь местный транспорт, включая гужевой.

В восьмидесятые годы каждый из конунгов княжил на своем престоле: Леонид—на Боровицком холме, Рональд—на Капитолийском, Кисель—на Тепсене. Киселёвка к тому времени была уже даже не кострищем, по коему прогнали табун лошадей—а место пусто. Древнегреческой маской трагедии площадку украшал чёрный зев гаража с оскаленной арматурой. Но Юра продолжал ездить в Планерское, распускал шатром вылинявшую, посевшую до цвета ковыля палатку и сидел на тепсеновском черепа, на своём столе. С весны, кому как позволяли отпускные и каникулы, мы стекались, как реки в море, в посёлок—кто из Москвы, кто из Питера, из Харькова—и уже снимали по дворам. Долгое время постоянным местом нашего обитания был дом с высоким крыльцом на улице Мичурина.

Как-то, узнав от знакомых, что Кисель здесь, я попошла мурзой к престолу хана на Тепсень. Он, как Аттила, сидел на своём четырёхколёсном скакуне на колёсиках и не сходил с него. За его спиной белел шатёр. В шатре—женщина. На траве—закопчённый котелок.

—О,—встретил он меня обычным приветствием,— генеральская дочка,—одновременно заправляя рубашку в ремень, чтобы аккуратнее.—А знаешь, я тут вспоминал твоего отца-лётчика. Я был на шхуне, поднимался на мачту. Небо... Да, я бы с ним поговорил...

Стояла жара, высоко над нашими головами монотонно наворачивал свои круги ястреб.

—А что, Юр,—перебила я его на правах старой дружбы, когда мы принесли походные сто грамм,—как ты всё-таки это перенёс?

Я спрашивала о сокровенном, даже не называя событие.

—Я запретил себе об этом думать, и всё!

И больше ничего... В ответ я только покачала головой, выражая этим своё восхищение и наверняка признание, что точно так бы не смогла.

Пятясь, я отползала с Тепсеня, оставляя хана на своём улусе. В те же годы кто-то видел его с палаткой в районе Лисьей бухты. Он кружил вокруг посёлка проигравшим Акелой, но не сдавшимся, нет.

Потом он перестал приезжать в Планерское. Утратив хозяина, наш купол, дионисийский холм с гаражом под инвалидку, ещё долго не давался никому в руки. Скуластый Лукомон на тележке, подкованной четырьмя колёсиками, незримо присутствовал у своего алтаря. Воскурения киселёвского сакрального городища ещё не истаяли над Киловой горкой, и заброшенный участок по улице Серова, как необъезженный жеребец, долго не давал никому себя оседлать. Наконец он сам выбрал себе хозяев, замечательную пару—Наташу Туркию и Андрея Деметельева, чья щедрость на людей продолжает неизменно обескураживать в наши предпоследние времена своим неожиданным распахом, как тот первый взгляд на Киселя. Всё—выстрелом! Всё—восхищением! Теперь на этом месте и дом, и «крафт», мастерская. Под черепичным навесом продолжают и промысел, и ремесло. Мастeryт руками и, представьте, сердцем, возводят пространство для друзей, как будто лучше друзей так ничего и не придумано в нашем мире.

Серединной осенью в Москве, с положенными ей дождями и кленовыми пергаментными листьями в лужах, ещё не проваливаясь в «молох» дел, хотелось позвонить Киселю. Он всегда был рад встрече. В одну осень, не помню точно в какой год, звонил кто-то из ребят, говорил, что хорошо бы подвести Киселю жратвы. Я не очень помню его московский адрес. Он жил где-то в одном из отдалённых районов, в хрущёвке, то есть обычной пятиэтажке без лифта, вдвоём с мамой. Одна из встреч в Москве состоялась поздней осенью. Мы долго ждали на площадке, пока он откроет, не волнуясь, зная, что ему надо время, чтобы прокатить по коридору на тележке к входной двери. Погремев ключами, цепочками, он нас так и встретил: мы—жирафами над ним, он—нам по колено. Помнится, увидев эту весёлую ленинскую морду, мы в который раз, прямо-таки тут же, почувствовали себя по-дурацки счастливыми на всю оставшуюся жизнь.

Внутреннее пространство из трёх комнат, кухни и коридора, всё достаточно узкое и тесное,

Кисель, недаром выпускник Строгановки, умело преобразовал под себя. Дверной замок навешен низко, по коридору поручень, повсюду полки. Налево — кухня, совмещённая ванная, направо — комната, в которой жила мама, его комната — прямо по коридору и налево. Он — на тележке, мы за ним — на секунду завернули направо, чтобы поздороваться с мамой.

В комнате мамы, старенькой женщины народо-вольческого вида, в оттянутой кофте классной учительницы, она и была учительницей, всё было завалено газетами. Главные газеты страны «Правда», «Известия», «Труд» неряшливо торчали из пухлых картонных папок с тесёмочками, оккупировавших стол и стенные полки. С Юркиных слов, мама уважительно общалась с газетными колонками, вырезая ножницами особо полюбившиеся передовицы, в основном про Ленина, и складывала их в папки. Шутил он или серьёзно? Похоже, что всерьёз.

В комнате Киселя, кроме дивана или тахты — в общем, его спального места, где-то сбоку стоял катушечный магнитофон. Стола не было; когда собирался народ в большом количестве, с петель снимали дверь и клали её на две табуретки, предупреждая не касаться невзначай дверной ручки, в противном случае дверь опрокидывалась. Обычно гость, потянувшись за солью или хлебом, приняв ручку двери за солонку, тянул за неё, а дальше все кидались к чёртовой ручке, чтобы удержать равновесие стола и сохранить провизию на полотнище двери. Нависал стеллаж с огромными папками, коробки с многочисленными инструментами, какими-то неведомыми деталями, большей частью автомобильной атрибутикой, запчастями. Он что-то показывал из своих работ. Что-то из рисунков тут же нам подарил. Редко, но у него бывали заказы по промышленному дизайну от его декоративно-оформительского комбината.

Мы, конечно, пришли с бутылём, колбасой, плавленными сырками. Часть еды он отложил на бумагу и отъехал в коридор, чтобы свезти маме. Потом он вернулся, освободился от тележки, кинул себя на тахту:

— Ну, всё, ребята, я — с вами.

И начался пчелиный гудёж, «тары-бары». Разливалось вино, строились бутерброды. Текли слова и песни. Он ел немного. Но когда выпил, потянулся к магнитофону.

Он ставил голос своей Кармен ещё и ещё раз. Напряжённо слушал, шурвился, мям в пальцах папиросу, делал какие-то нервные движения руками, тёр затылок. То вдавливался спиной в стену, то, наоборот, резко наклонялся вперёд, к магнитофону. Было видно, что он сильно взволнован, что он — влюблён, чёрт возьми! — и страдает... Кажется, она была из какого-то танцевального ансамбля. Танцовщица? Певица?

Это очень сильно — Кисель и любовь. У него было что-то с нервами, что и неудивительно; обычно на людях он никогда этого не демонстрировал, но в отношениях с женщинами, где и так достаточно эмоций, это вырывалось; короче, он как-то заставлял их страдать, что, впрочем, было взаимно. Со слов очевидца, не я видела... Он не пускал её, она хотела уйти, уже в коридоре — то ли поругались... он обхватил её за ногу ниже колена, а она крепко била другой ногой в его широкую грудь... но он не отпустил.

Его всегда били в грудь, в этот распахнутый экран. В другой раз, когда он заехал на тележке, как обычно, в подъезд своего дома, там его уже ожидали двое амбалов. И стали бить ногами в грудь. Он же бился этой грудью в ворота спецлагерей для инвалидов, и однажды они поддались.

В 1993 году, за пару лет до ухода, Юру показывали в телевизионной программе «Совершенно секретно». Снимали у него дома, в этой самой московской квартирке. Угол его рабочей мастерской украшали старый диванчик, весь заваленный книгами и бумагами, и большая, в пол, прислонённая икона Богородицы. На низком столике, на который он иногда опирался, стояла банка с пшеном, тазик, рядом курительная трубка, зажигалка.

В коротком сюжете он, постоянно меняя положение тела на крохотной скамеечке на колёсиках, всё время как бы устраиваясь на своём насесте, седой, но крепкий, с ясным взглядом, негромким голосом рассказывал о конференции памяти Рауля Валленберга, шведского дипломата, спасшего во время войны жизни десятков тысяч евреев, на которую он был приглашён и где рассказывал об инвалидных лагерях в СССР. Власти не могли простить Киселёву выноса «сора из избы». А сора было предостаточно.

В двадцатые годы были закрыты все благотворительные попечительства, все дома призрения. Коллективизация, стройки коммунизма, Великая Отечественная — всё это не уменьшало количества калек, нищих, бездомных. После помпезного физкульт-парада 1946 года их постепенно начали «стирать с фасада». Калек хватало на вокзалах, по рынкам, у церквей, и тащились они по этапам, по известной пятьдесят восьмой статье (подрыв, ослабление рабоче-крестьянской власти), в лучший, более милосердный мир — советские инвалидные лагеря. Инвалидных лагерей не существовало нигде, кроме нашей страны. Употребляли их на самых тяжёлых работах. На строительстве Беломорканала однорукые, с той стороны, где у них была рука, носили носилки, доверху гружённые щёбёнкой, парализованные, без ног, сидели на земле в грязи и молотками разбивали крупные камни.

Когда Инициативная группа поняла, что на родной стороне их никто не слышит, стали действовать через международные каналы, отсылать

материалы на Запад. Именно документы киселёвской группы, развенчав миф о лучшем в мире соцобеспечении, послужили тому, что эти страшные лагеря наконец закрыли. Теперь калек распределяли по «здоровым» зонам, где убивать на виду стало менее удобно. На Родине—соответственная благодарность: советская пресса стала поливать членов Инициативной группы грязью—«антисоветчики», «неблагодарные».

В один из моментов разговора камера крупно показала Юрины руки—тяжёлые, рабочие, точные—чернорабочие, раздолбанные трудом, инструментом, сами бьющие кулаком и по которым неоднократно кувалдой. Руки старого беломорканальца. На левой руке не было фаланги указательного пальца...

В нашем доме хранится старая чёрно-белая фотокарточка 1945 года. Маленькая фигурка отца в форме и фуражке, напротив него—то ли подросток, то ли высохший старичок с бритой головой, в полосатом костюме. Встреча двух людей. И из семейных рассказов я знаю, что это совсем не подросток, а знаменитая французская театральная актриса, чуть ли не из «Комеди Франсез», только что освобождённая из концентрационного лагеря на территории Австрии. Слёзы и целования рук. И смысл этой встречи прост: один человек другому—самый драгоценный дар, что существует на земле,—свободу, как второе рождение, что ещё сильнее первого, ибо человек уже знает, какой мир он теряет или обретает.

Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать!..

И вот я представляю, как Юра, отталкиваясь своими работными руками, которые переносили за свою жизнь столько этой тяжёлой щёбёнки, подъезжает на своей платформочке и останавливается прямо перед воротами такого спецлагеря. Ворота распахиваются, и на него валом накатывает инвалидная армада: кто на костылях, кто без руки, кто без глаз, некоторые на мотоколясках—из одних торчат костыли, другие накрыты брезентом,—почти живописной пиратской бандой. И Юры уже не видно. Его накрыла людская волна с головой, он—в море. И море это называется Pont Liberté.

По сравнению с его мужеством все мы, конечно, были одной сплошной чепухой. Юра умер в 1995 году, в знойном августе, в самом зените того исключительного месяца, празднуемого нами, как всегда водилось на Киселёвке, когда звёзды над головой

особенно ярки и лучисты и особенно часто кометами-горстями шлюют на землю свои послания.

Памятная доска на фасаде дома номер четыре в Лучниковом переулке, выходящего одним своим концом на Лубянку.

В шестьдесят три года—для кого-то рано, для России, где умеют расходиться серпом, нет. Умер у себя дома от удара. В сердце или мозг, не важно. Голова его наклонилась на грудь. Больше он её не поднял.

Он чувствовал себя плохо уже на протяжении нескольких дней. Боль рвала его на уровне солнечного сплетения, немного ниже которого, собственно, и заканчивалось сработанное роденами и не завершённое в силу достигнутого совершенства его тугое тело. В последние сутки он поочерёдно звонил друзьям, спрашивая, как унять эти сильные боли. И когда, уже не в силах терпеть боль, в последний раз выбрался на порожек комнаты мамы, всё время отталкиваясь от этой низкой клятой земли, как на гребень своей Киловой горки, то ничего другого ему и не оставалось, как кинуться головой вниз гроем фильма «Мотылёк», в море. А может быть, он опрокинулся навзничь?.. А дальше плыви за строчками Бодлера: «Свободный человек, любить всегда ты будешь море».

И всё-таки—ещё раз о высоте. По сути, Юра был атлантом. Он подпирал своими руками небо, чтобы нам было легче. При нём голубой свод был повыше. А когда он уставал, то засыпал, поставив поддончик с ещё крутящимися колёсиками парусом в вертикаль. И тогда за парусом его было не видно, и он мог плыть куда хотел.

Лёжа, раскинув руки-мачты на цементном полу, задрав голову-чашу в небо (нам казалось, что он спит), он плыл—и сейчас плывёт. Ставит паруса, разбирается с такелажем, а потом выходит на берег—цельный и целый, щедрый августовский бог, одной рукой протягивая полную чашу с вином, другой легко, как бы шутя, поддерживая небо у нас над головой.

А что там внизу, под рукой? Для нас навсегда остался родным тот единственный кильовый покров. Там и сейчас повсюду бьют фонтанчики любви. Может быть, сквозь поры той графитной сине-зелёной земли проступает что-то важное, пробивается наверх какое-то чрезвычайно серьёзное сообщение.

Этот источник передаёт нам одно и то же послание вот уже столько лет: мы нужны друг другу в этом блистающем мире.